

ПОЛИТИКА

ИЗ „СОВРЕМЕННОКА“

〈№ 1. — Январь 1859 года.〉

Характер исторического прогресса. — Обзор состояния Западной Европы. —
Положение дел во Франции. — Парламентская реформа в Англии¹.

Последнее десятилетие было очень тяжело для друзей света и прогресса в Западной Европе. Но что же тут удивительного, что редкого? В каком же веке не бывало в двадцать раз больше мрачных лет, нежели светлых? Людям нашего поколения в Западной Европе пришлось перенести очень много тяжелых испытаний; но в каком же поколении жизнь людей, желавших добра, не отравлялась почти постоянно испытаниями, быть может, еще более тяжелыми? История любит прикрашивать прошедшее, как старые кокетки любят говорить, что некогда наслаждались непрерывным рядом сладких побед; но люди, бывшие свидетелями их прошедшего, слушают этот вздор с улыбкой, думая про себя: «однако же самохвальство — очень легкое дело; мы помним, что никогда вы не были так хороши, как воображаете». В самом деле, где же в прошедшем какой бы то ни было страны Западной Европы найдутся десятилетия хорошего времени? Припомним хотя последние полтора столетия. О Германии, Италии, Испании нечего и говорить: их история за все это время очень незавидна, и счастливых годов они могут искать разве в будущих годах XIX столетия, а никак не в прошедших его годах и не в XVIII веке. Припомним судьбы двух народов, жизнь которых до сих пор была удачнее, чем всех других; кстати же история Франции и Англии несколько знакомее нам, русским, и дело будет понятно без длинных рассуждений. Попробуем подводить итоги для жизни каждого поколения этих племен, начиная с людей, бывших прадедами наших современников.

Что видел вокруг себя в свою жизнь француз, бывший стариком в 1730 году, молодым человеком в 1700? Прежде всего он видел страшное истощение Франции предшествовавшими войнами,

которые по рассказам его отцов были славны для французского оружия, но, как он замечает сам, не принесли Франции ровно никакой пользы кроме чести разориться самой для опустошения Нидерландов и Западной Германии, а потом он видит поражение французских войск в современных ему битвах Евгением Савойским и герцогом Марльборо, видит постыдный для Франции Утрехтский мир² и предшествовавшее ему унижение французского короля * перед каким-нибудь Гейнзисом. Престарелым королем овладели иезуиты, можно свободно кощунствовать над всем святым, попирашь ногами все нравственные законы, надобно только льстить иезуитам, — и будешь могуществен, богат, всеми уважаем. Ему говорят, будто бы прежде было лучше, но он вспоминает, что первым впечатлением его детства было: отменение Нантского эдикта³, казни несчастных гугенотов, между которыми благословляли судьбу те, которые могли бежать из любимой родины. Теперь драгоннады продолжают, к ним присоединилось преследование янсенистов⁴, и человек, который исповедуется пред смертью не у иезуита, не будет похоронен по христианскому обычаю. Все государство предано произволу кровопийц, называющихся откупщиками, интендантами⁵; министры заботятся только о том, чтобы угодить госпоже Ментенон; народ изнемогает под бременем невыносимых налогов, а в казне все-таки нет ни копейки денег, и с каждым годом растут долги. Хорошо было при Людовике XIV, еще лучше сделалось при герцоге-регенте⁶. Приятное тридцатилетие! Но все-таки оно лучше следующих тридцати лет, а эти тридцать лет, кончающиеся позорным поражением при Росбахе⁷, все-таки лучше следующих пятнадцати лет на столько же, на сколько маркиза Помпадур была лучше графини дю-Барри. Но если первая половина жизни третьего поколения была еще тяжелее, нежели жизнь второго, которая в свою очередь была еще несчастнее жизни первого поколения, то вот является надежда, что последние пятнадцать лет будут для внуков лучше, нежели первые: новый король ** — человек добрый, желающий блага народу. Кто же является при нем всесильным министром? Старый весельчак граф Морепа, который был слишком дурен даже для прежних времен. Хороши надежды! «Но сила общественного мнения поддержит доброго короля в его благих намерениях». Действительно, потребности, высказываемые общественным мнением, дают такую сильную опору честным людям, что Тюрго и Мальзерб едва могут удержаться в министерстве несколько месяцев и удаляются, не успев сделать почти ровно ничего. Далее ход событий известен; вероятно, он был хорош, если как раз под конец третьего тридцатилетия привел к ужасному взрыву ***.

* Людовик XIV. — *Ред.*

** Людовик XVI.

*** Революция 1789 года. — *Ред.*

О следующих четырех или пяти годах мы не будем говорить; но, вероятно, и они были не очень счастливы, если кончились возникновением позорной Директории с ее бесстыдным Баррасом, променять которого на Наполеона Бонапарте казалось уже огромным выигрышем⁸. При Наполеоне гром побед долго тешил хвастунов; но, озираясь вокруг себя, рассудительный человек видел, что во Франции уже не оставалось молодых людей, которые все, кроме калек и уродов, забраны конскрипцией*. Всякая мысль, не только свободная, но и решительно всякая, преследовалась во Франции; все права были отняты у граждан; над всю страну тяготел деспотизм. Победы были так удачны, что кончились вторжением врагов во Францию. Изнуренная страна не имела сил защищаться, и правление Наполеона было вообще так хорошо, что французы приветствовали своих завоевателей как освободителей. Наполеона сменили Бурбоны, которые заставили Францию жалеть о нем. Деспот, избавителями от которого были чужеземцы, явился избавителем от Бурбонов и был встречен с таким же восторгом, каким за год встречены были враги, освобождавшие от него⁹. Затем последовало новое завоевание Франции, которая, при всем страшном своем изнурении, принуждена была заплатить огромную контрибуцию и содержать иностранные армии. В этом положении застаёт Францию 1820 год, которым кончается четвертое тридцатилетие. Человеку, желавшему добра, легче ли было жить в это время, нежели как было его отцу, деду, прадеду и прапрадеду? Бурбоны с самого начала заставили жалеть о Наполеоне, освободиться от которого было приятно для Франции даже ценою своего завоевания иностранцами: но каково бы ни было сначала правление Бурбонов, все-таки полного своего совершенства оно достигло именно с 1820 года, которым начинается жизнь нового поколения: до той поры реставрация колебалась между крайними фанатиками и людьми, которые назывались умеренными по сравнению с ними. Теперь умеренные (действовавшие, впрочем, так, что ужасался и совестился даже сам Фуше, человек известной репутации) были совершенно оттеснены тою партией, которая своею яростью набрасывала на них вид умеренности. Что говорилось и делалось в это время, с 1820 до 1830 года, то было в редкость даже при Людовике XV. А для того, чтобы оценить следующие 18 лет, довольно сказать, что по общему мнению людей, содействовавших перевороту 1830 года, Франция едва ли много выиграла через него; а многие из самых либеральных людей находили, что прежде было едва ли не лучше. Да и то сказать, можно ли похвалить такое положение, от которого в 30 лет происходят две революции? Чем же для пяти предшествующих поколений французов жизнь была лучше, нежели для нынешних?

* Рекрутский набор. — Ред.

«Но что же вы говорите о Франции? — заметят многие из читателей: — французская история действительно представляет очень мало отрадного: там вечные смены угнетения и анархии, приводящей к другому угнетению. Во Франции действительно никогда не было легко жить, тут не нужно никаких доказательств. Вот другое дело Англия: в ней порядок, в ней свобода, в ней непрерывный прогресс, столь же быстрый, как и мирный». Мы рады слушать утешения. Очень приятно, если английская история окажется отраднее французской. Но только жаль, что очень многие уверяют совершенно в противном: они утверждают, будто бы в Англии масса народа всегда было тяжелее жить, нежели во Франции. Быть может, они ошибаются, но самое существование их мнения уже доказывает, что слишком большого превосходства над французской жизнью английская не имеет, иначе ошибка их была бы невозможна: ведь можно спорить разве о том, в чем больше горечи, в полыни или в горчице; если бы полынь сравнивалась с сахаром, никто бы и спорить не стал. Посмотрим же на историю этой Англии, столько хвалимой одними, столько ненавистой другим.

Что видит вокруг себя англичанин, начинающий самостоятельную деятельность в 1700 году? (Мы уже не говорим, что видит ирландец, — пусть речь идет только об англичанине, для которого ирландец тогда был хуже собаки). Первая приятность для человека хотя с некоторым чувством справедливости и доброжелательства состоит в том, что гораздо более нежели девять десятых частей нации совершенно лишены всякой недвижимой собственности и могут быть уподоблены тому греческому мудрецу, изречение которого известно всем нам в латинском переводе: *omnia mea mecum porto* *. Впрочем, это удовольствие вовсе не составляет привилегии человека, жизнью которого мы начинаем наш очерк: то же самое удовольствие доставляет зрелище родины и его сыну, и внуку, и правнуку, и праправнуку. Итак, вопрос о положении массы простолюдинов отбросим в сторону: вероятно, оно для Англии так и следует быть, если искони веков до нашего времени так остается. Посмотрим на то, как удовлетворяются нравственные потребности образованного сословия. Наш англичанин 1700—1730 годов читал между прочим Локка, а может быть и Мильтона; оба они растолковали ему, что свобода совести — дело священное, что когда одна секта присвоивает себе все государственные права, то хорошего ничего нельзя ожидать. А между тем не только нашему англичанину, но и его сыну, и его внуку, и даже правнуку не удастся видеть признания политических прав за людьми, не согласными с оксфордским изуверством: этот гостинец английская история бережет только уже для второй четверти XIX столетия ¹⁰.

* «Все свое ношу с собою». — *Ред.*

Значит, и об этом толковать нечего: вероятно, стеснение иноверцев не должно возмущать англичанина с гуманным образом мыслей. Притом же надобно полагать, что он утешится очаровательным зрелищем свободного парламентского правления. В самом деле, умирительно и подумать об английском парламенте: собираются представители нации, на их мудрое и благонамеренное обсуждение предоставляются все дела, — превосходно; но только и тут есть для нашего англичанина 1700—1730 годов небольшое огорчение. В палате общин из десяти членов девятеро назначаются вовсе не нацию, а несколькими лордами, и обязаны подавать голоса, как прикажут им хозяева. Притом ни министры королевы Анны, ни министры Георга I не хотят подчиняться парламенту, а напротив, или подкупают его, или, если не удастся подкупить, просто-напросто не слушают его и распоряжаются государственными делами, как сами хотят; и великолепный спектакль парламентского правления почти постоянно оказывается чистою комедию, смысл которой — полнейший произвол придворного управления, не только в это, но и в следующее тридцатилетие, так что сыну при Георге II так же мало отрады, как и отцу при Анне и Георге I¹¹. Но вот в молодые годы внука начинается правление Георга III. Хотя теперь не обратится ли парламентская комедия в серьезное дело? Вот нарушены коренные законы Англии в деле Вилькса¹². Много лет волнуется Лондон, волнуется все государство в негодовании на преступных министров; гремят ораторы в парламенте; письма страшного Юниуса разят преступников, как частые удары молнии; а преступные министры, ненавидимые нацию, улыбаются и преспокойно себе управляют Англией. Мало того, что они нарушают законы в Англии, они хотят обратить в рабов американцев, чтобы при помощи этих рабов, по знаменитому выражению лорда Четема, обратить потом в рабство и самую Англию. Вся Англия негодует сильнее прежнего, вся сочувствует обижаемым американцам; а министры все-таки продолжают свое дело, улыбаясь в ответ на проклятия народа, раздающиеся по улицам, и грозные речи великих ораторов, гремящие в парламенте. Министры таки сделали свое дело, довели американцев до восстания: братья режут братьев, и европейские братья вдобавок нанимают краснокожих, чтобы они скальпировали американских братьев. Тут зрелище становится еще отраднее: те самые англичане, которые негодовали на угнетение американцев и поощряли их к сопротивлению, теперь одушевлены уже враждою к ним за то, что они не дали поработить себя и не захотели быть орудием порабощения для Англии¹³. Среди этих сцен проходит жизнь внука. При правнуке они продолжают в более широких размерах и растягиваются еще на большее число лет. История, бывшая с американцами, повторяется относительно французов: начинается слишком двадцатилетняя война с Франциею за то, что французы, наслушавшись английских речей о

свободе, произвели у себя революцию, к которой ободряли их сами же англичане: видите ли, Англия погибнет, если не будут восстановлены Бурбоны, которых Англия имела непримиримыми своими врагами до самой минуты их падения. Льется двадцать лет английская кровь в Испании, в Голландии, во Франции, обогряются ею все моря, Англия облагает себя двойной тяжестью податей, увеличивает до баснословной цифры свой долг, чтобы восстановить Бурбонов, которые всегда были и опять будут ее врагами. Занятым войною англичанам уже не до того, чтобы думать о внутренних улучшениях. Мало того, что некогда думать об улучшениях, — под влиянием одностороннего напряжения сил на внешнюю войну внутренние учреждения Англии едва ли не ослабевают; по крайней мере после войны, когда внимание снова обращается к внутренним делам, Англия видит в своем правительстве решительное стремление к подавлению прав, которыми пользовалась нация. В 1820 году праправнук, начинающий жить, находит свою родину во власти обскурантов и реакционеров, давно уже господствующих в ней. Наконец, избыток угнетения пробуждает нацию от долгой политической дремоты, и возникает стремление к реформам. Есть народы, которые могут завидовать англичанам во второй четверти нашего века; но для самих англичан мало утешения в том, что у других хуже, нежели у них: как бедны и узки достигаемые ими реформы и каких долгих хлопот стоит каждая из них! Несколько десятков лет нужно волноваться целому государству, чтобы добиться отмены злоупотребления, и потом оказывается, что злоупотребление осталось почти во всей своей силе. Великим делом в жизни поколения 1820—1850 годов была парламентская реформа, необходимость которой чувствовалась по крайней мере уже лет сорок, да и то была произведена в таком жалком размере, что осталось почти неприкосновенным зло, против которого она была направлена. Палата общин попрежнему осталась представительницею почти одного только аристократического интереса; не только простолюдины не приобрели доступа в нее своим депутатам, но и среднее сословие, которое в Англии богаче, просвещеннее и многочисленнее, нежели где-нибудь, почти не имело в ней голоса до 1850 года. Реформа * была так узка и бедна, что нимало не удовлетворила требованиям принципиальных людей, которые потом почти 30 лет напрасно выбивались из сил, чтобы дополнить ее. Она была произведена так неудовлетворительно, что первым результатом ее было доставление господства той самой партии, которая противилась ей. Другим важным делом было отменение хлебных законов; оно составляет до сих пор предмет пышных похвал; но наш англичанин 1820—1850 годов только под конец своей жизни дождался этой реформы, которая требовалась еще его отцом; стало быть, свою

* 1832 года. — Ред.

жизнь провел он в тяжелом ожидании, да и под конец жизни чем он был утешен? — Тем, что славу улучшения похитил человек, всеми силами противившийся ему до последней минуты, а люди, которые были истинными виновниками улучшения, остались по-прежнему предметом презрения обеих господствующих партий¹⁴. Да, мы забыли еще одну приятность для англичанина 1820—1850 годов. При нем Англия сделалась самостоятельной державою, а до тех пор, с самого начала прошлого века, вся ее политика подчинялась надобностям ганноверского курфюрста, который постоянно жертвовал интересами Англии интересам своей немецкой области¹⁵. Хорошо состояние государства, 120 лет терпящего такую обременительную нелепицу. Мы знаем, что такой отзыв о развитии английских учреждений в 1820—1850 годах несогласен с господствующим мнением; но он покажется менее странным, когда нам представится случай ближе всмотреться в историю Англии за последние 40 лет. Да и теперь читатель, может быть, не осудит его, если подумает о том, что реформа 1832 года оставила палату общин попрежнему во власти вигов и тори, и что только ныне начинает возникать в ней независимая от этих узких кoterий партия, служащая представительницею среднего сословия¹⁶; также если вспомнит, что Роберт Пиль, отменяя хлебные законы, только воспользовался чужими трудами, которым до тех пор всячески противился; а Кобден, которому Англия действительно обязана этим великим делом, до сих пор не удостоился иметь никакого участия в правительстве. Хорош порядок дел, когда лучший министр вынуждается к согласию на отмену вопиющих злоупотреблений только страхом революции!

«К чему же ведет этот очерк? Неужели вы хотите доказать, что в истории Англии 1820—1850 годов не было ничего хорошего?» Напротив, хорошего было сделано очень много и в это время, и в прежние периоды, не только в Англии, не только во Франции, но даже и в Неаполе, и в Португалии, и в самой Турции. Мы вовсе не отвергаем прогресса, а только хотим показать, что нашему поколению жить ничуть не тяжелее, нежели какому бы то ни было из предыдущих поколений; и что во все времена и во всех странах мыслящие люди были ровно на столько же довольны ходом и характером событий во все продолжение их жизни, на сколько могут быть довольны теперь; что и в прежние времена удачи для них были очень редки и давались им судьбою в очень урезанном виде; что прогресс всегда и везде происходил очень медленно, сопровождаясь целою тучею самых неблагоприятных обстоятельств и случаев, беспрестанно перерываясь видимым господством реакции или, по крайней мере, застою.

А прогресса мы не только не думаем отрицать, напротив, даже не понимаем, как можно сомневаться в его неизбежности при каких бы то ни было задержках и неудачах. Закон прогресса — ни больше, ни меньше как чисто физическая необходимость

вроде необходимости скалам понемногу выветриваться, рекам стекать с горных возвышенностей в низменности, водяным парам подниматься вверх, дождю падать вниз. Прогресс — просто закон нарастания. Ничто не остается без следа; после каждого процесса образуются какие-нибудь остатки, при помощи которых или бывает легче повторяться тому же процессу, или открывается возможность для другого процесса, которому нельзя было бы произойти без помощи этого удобрения, и который, следовательно, принадлежит уже к высшему порядку, нежели прежний. Элементы и процессы в истории общества гораздо сложнее, нежели в истории природы, и поэтому следить за их законами гораздо труднее; но во всех сферах жизни законы одинаковы. Отвергать прогресс — такая же нелепость, как отвергать силу тяготения или силу химического сродства.

Исторический прогресс совершается медленно и тяжело — вот все, что мы хотим сказать; так медленно, что если мы будем ограничиваться слишком короткими периодами, то колебания, производимые в поступательном ходе истории случайностями обстоятельств, могут затемнить в наших глазах действие общего закона. Чтобы убедиться в его неизменности, надобно сообразить ход событий за довольно продолжительное время, и именно с этой целью мы припоминали главные черты истории двух передовых народов Европы за целые полтора века. Сравните состояние общественных учреждений и законов Франции в 1700 году и ныне, — разница чрезвычайная, и вся она в пользу настоящего; а между тем почти все эти полтора века были очень тяжелы и мрачны. То же самое и в Англии. Откуда же разница? Она постоянно подготавливалась тем, что лучшие люди каждого поколения находили жизнь своего времени чрезвычайно тяжелою; мало-помалу хотя немногие из их желаний становились понятны обществу, и потом когда-нибудь, чрез много лет, при счастливым случае, общество полгода, год, много — три или четыре года, работало над исполнением хотя некоторых из тех немногих желаний, которые проникли в него от лучших людей. Работа никогда не была успешна: на половине дела уже истощалось усердие, изнемогала сила общества, и снова практическая жизнь общества впадала в долгий застой, и попрежнему лучшие люди, если переживали внушенную ими работу, видели свои желания далеко не осуществленными и попрежнему должны были скорбеть о тяжести жизни. Но в короткий период благородного порыва многое было переделано¹⁷. Конечно, переработка шла наскоро, не было времени думать об изяществе новых пристроек, которые оставались не отделаны начисто, некогда было заботиться о субтильных требованиях архитектурной гармонии новых частей с уцелевшими остатками, и период застоя принимал перестроенное здание со множеством мелких несообразностей и некрасивостей. Но этому ленивому времени был досуг внимательно всматриваться в каж-

дую мелочь, и так как исправление не нравившихся ему мелочей не требовало особенных усилий, то понемногу они исправлялись; а пока изнеможенное общество занималось мелочами, лучшие люди говорили, что перестройка не докончена, доказывали, что старые части здания все больше и больше ветшают, доказывали необходимость вновь приняться за дело в широких размерах. Сначала их голос отвергался уставшим обществом как беспокойный крик, мешающий отдыху; потом, по восстановлении своих сил, общество начинало все больше и больше прислушиваться к мнению, на которое негодовало прежде, понемногу убеждалось, что в нем есть доля правды, с каждым годом признавало эту долю все в большем размере, наконец, готово было согласиться с передовыми людьми в необходимости новой перестройки, и при первом благоприятном обстоятельстве с новым жаром принималось за работу, и опять бросало ее не кончив, и опять дремало, и потом опять работало.

Прогресс совершается чрезвычайно медленно, в том нет спора; но все-таки девять десятых частей того, в чем состоит прогресс, совершается во время кратких периодов усиленной работы. История движется медленно, но все-таки почти все свое движение производит скачок за скачком, будто молоденький воробушек, еще не оперившийся для полета, еще не получивший крепости в ногах, так что после каждого скачка падает, бедняжка, и долго копошится, чтобы снова стать на ноги, и снова прыгнуть, — чтобы опять-таки упасть. Смешно, если хотите, и жалко, если хотите, смотреть на слабую птичку. Но не забудьте, что все-таки каждый прыжком она учится прыгать лучше, и не забудьте, что все-таки она растет и крепнет и со временем будет прыгать прекрасно, скачок быстро за скачком, без всякой заметной остановки между ними. А еще со временем, птичка и вовсе оперится и будет легко и плавно летать с веселою песнею. Правда и то, что, судя по нынешнему, не слишком еще скоро придет ей время летать; а все-таки придет, сомневаться тут нечего.

За напряжением сил следует усталость, принуждающая к бездействию отдыху; во время отдыха восстанавливаются силы, бездействие, сначала столь отрадное, мало-помалу становится скучным, и возвращается жажда деятельности, покинутой на время от изнеможения; воскресают прежние стремления, и с свежими силами, умудренный прежним опытом, человек горячо берется за продолжение дела, к которому на время охладевал. Таков общий вид истории: ускоренное движение и вследствие его застой и во время застоя возрождение неудобств, к отращиванию которых была направлена деятельность, но с тем вместе и укрепление сил для нового движения, и за новым движением новый застой и потом опять движение, и такая очередь до бесконечности. Кто в состоянии держаться на этой точке зрения, тот не обольщается излишними надеждами в светлые эпохи одушевленной

исторической работы: он знает, что минуты творчества непродолжительны и влекут за собою временный упадок сил. Но зато не унывает он и в тяжелые периоды реакции: он знает, что из реакции по необходимости возникает движение вперед, что самая реакция prepares и потребность, и средства для движения. Он не мечтает о вечном продолжении дня, когда поля облиты радостным, теплым светом солнца. Но когда охватит их мрачная, сырая и холодная ночь, он с твердой уверенностью ждет нового рассвета и, спокойно всматриваясь в положение созвездий, считает, сколько именно часов осталось до появления зари.

Не год и не два года продолжается тяжелый застой в истории Западной Европы; но несомненные признаки показывают, что полночь уже прошла, и до нового дня осталось меньше времени, нежели сколько пережито от заката солнца в предыдущий день. Все приметы, которые были перед прошлым утром, появляются вновь, и происходят факты, соответствующие тем, какие мы видели около пятнадцати или двадцати лет тому назад. Как тогда, так и теперь правительственный дух в большей части второстепенных государств Западной Европы от крайней реакции начинает несколько склоняться к слабому либерализму. Читатели знают, что учреждение регентства в Пруссии было победою над крайними реакционерами и сопровождалось обещанием либерального направления¹⁸. В большей или меньшей степени подобные перемены начинают происходить и во многих других второстепенных государствах. Изменение тут в сущности невелико, но все-таки оно произведено общественным мнением и указывает на возобновление политической жизни в обществе. В некоторых других государствах, как, например, в Испании, произошли перевороты, также заменившие прежних крайних реакционеров людьми, которые сравнительно с ними считаются либеральными, и, например, Сан-Луис сменился О'Доннелем¹⁹. Итальянская революционная партия в последние два-три года несколько раз возобновляла старинные попытки на Неаполь и Сицилию²⁰. Наконец, носят слухи об опасностях для австрийского владычества в Ломбардии, как носились в 1846 и 1847 годах, когда европейский переворот начался именно такими же столкновениями в Северной Италии; и снова Сардиния провозглашает себя защитницею Италии от австрийцев. Не надобно приписывать большого значения происшедшим переменам, не надобно ожидать происхождения новых перемен именно от тех столкновений, какие уже видим теперь в Италии. Ломбардия и Сардиния сами по себе были бы слишком слабы для победы над Австриею, а Франция, что бы она ни говорила, остается в сущности пока при намерении не переступать за границы дипломатических действий. Да если бы и действительно происшедшие перемены были важны, а предсказываемые газетными слухами перевороты осуществились, то все они имели бы только местное значение, относясь к таким государствам Запад-

ной Европы, история которых не имеет решительного влияния на общий ход европейских дел. Чтобы видеть, чего надобно ожидать для целой Западной Европы в ближайшие годы, надобно обратить внимание на состояние Англии и Франции, каждая значительная перемена в которых отзывается соответствующим изменением в целой европейской политике.

Движение к парламентской реформе, овладевающее теперь Англию, мы подробнее рассмотрим ниже. Теперь обратим внимание только на отношение этого движения к состоянию умов в целой Западной Европе. Со времени падения Наполеона два раза Западная Европа подвергалась общему потрясению, и в оба раза переворот на материке совпадал с великою реформою в английских учреждениях. Революции 1830 года соответствует агитация в Англии для парламентской реформы; революции 1848 года соответствует отменение хлебных законов. Оба раза промежуток между континентальным переворотом и английскою реформою, или следовавшею за ним, или предшествовавшею ему, имел менее двух лет. Эта близость по времени вовсе не дело случая. Состояние общественного мнения в Англии имеет такую громадную силу над общественным мнением континента, что горячее настроение английской жизни к радикальным переменам служит значительным подкреплением для таких же стремлений на материке; и, наоборот, Англия теперь так тесно связана с континентом, что господствующее на нем стремление отражается и на англичанах. Но еще важнее этого взаимодействия то обстоятельство, что свои собственные местные причины к возрождению преобразовательных стремлений начинают усиленно действовать в Англии и на континенте почти в одно и то же время. Исходною точкою новой истории были и для Англии, и для континента одни и те же годы — 1813, 1814 и 1815, одно и то же событие — низвержение Наполеона и прекращение войн, последовавших за большою французскою революциею. Каждый отдельный человек изнашивается событиями, в которых участвовал; образ его мыслей и размер его желаний складывается в неизменную форму пятнадцатую или двадцатую первыми годами его общественной жизни. Таким образом, когда завершился известный цикл событий, известный период государственного порядка, почти все общество состоит из людей, сформировавшихся прежними стремлениями, не стремящихся или не отваживающихся стремиться ни к чему новому сверх того результата, который произведен прежним порядком вещей и характером идей их молодости. Чтобы совершилось в обществе что-нибудь важное, новое, нужно большинству общества составить из новых людей, силы которых не изнурены участием в прежних событиях, мысли которых сложились уже на основании достигнутого их предшественниками результата, надежды которых еще не обрезаны опытом. Чтобы состав общества обновился таким образом, нужно бывает около пятнадцати лет, по простому

арифметическому закону физической смены поколений: в пятьдесят лет большинство людей, бывших взрослыми при начале срока, вымирает или дряхлеет и заменяется новым большинством, составившимся из людей, бывших при начале периода юношами или детьми. Эти новые люди могут обнаружить решительное влияние на ход событий несколько раньше среднего срока, например, лет через десять, если обстоятельства благоприятствуют ускорению перемены, или несколько позднее, например, лет через двадцать, если обстоятельства неблагоприятны ее быстроте. Но все-таки существует средний срок для осуществления новых идей, и нельзя не заметить, что крайние колебания и пределы разных эпох, то растягиваясь, то сокращаясь, колеблются около средней цифры, пятнадцати или шестнадцати лет. Эта периодичность замечена всеми в событиях новой французской истории, но она также видна во всех тех веках и странах, которые особенно важны были для прогресса.

В самом деле, с 1789 до 1848 года прошло 59 лет. В эти 59 лет Франция пережила четыре смены внутренней жизни: революцию, империю Наполеона I, реставрацию и Орлеанскую монархию. В эти 59 лет отжили свой век два поколения и четыре раза сменялось большинство взрослых людей. Период, соответствующий силе каждого большинства, приблизительно соответствует одному из четырех периодов государственной жизни.

1789	Большая революция	11 лет
1800	Наполеон I	14 "
1814	Бурбоны	16 "
1830	Орлеанская монархия (до 1848)	18 "

4 периода государственной жизни в 59 "

Эти цифры, замеченные всеми, служили обыкновенно только для каббалистической игры праздным острякам, не понимавшим их зависимости от физиологии и психологии. Но они приобретают смысл, когда мы сообразим их связь с физическим законом смены поколений. Такая же периодичность легко замечается и в других странах и в другие времена, которые важны в истории прогресса. Мы говорили о новой английской истории. Просмотрим ее хронологию.

Через 17 лет после окончания революционных войн (1815) произошла парламентская реформа (1832), через 14 лет после того отменены хлебные законы (1846). Теперь все видят, что не дальше как в следующем году, а по всей вероятности в нынешнем, совершится новая парламентская реформа²¹, и можно уже определить продолжительность периода, доживаемого теперь Англиею, государственная жизнь которой изменится с исполнением дела, руководимого Брайтом:

1815	Окончание революционных войн	17	лет
1832	Парламентская реформа	14	"
1846	Отменение хлебных законов (до 1859 или 1860)	13 или 14	"

3 периода государственной жизни в 44 или 45 "

Опять видим тот же средний срок, около 15 лет, для смены одного характера государственной жизни другим, срок, в который прежнее большинство общества заменяется другим большинством из нового поколения.

Началом новейшей истории для Англии, как для Франции и для остального континента Западной Европы, были почти одни и те же годы: 1813 год для Германии (освобождение от французов; восстановление старого порядка вещей); 1814 для Италии, Испании и Франции (низвержение наполеоновской власти, восстановление старинных монархий); 1815 для Англии (окончание революционных войн); продолжительность времени, нужного для достижения человеком физической и нравственной возмужалости, и срок для смены одного большинства взрослых людей новым большинством одинаковы у всех народов, населяющих Европу. Из этого натурально следует, что возникновение новых эпох в разных государствах Западной Европы происходило бы довольно одновременно даже тогда, когда народы Западной Европы не были бы так тесно связаны один с другим и решительные перемены в жизни сильнейших между ними не имели бы прямого влияния на судьбу других. Из этого мы видим, что реформационное движение, охватившее теперь Англию, должно служить указанием на близость времени для подобных движений и у остальных народов Западной Европы.

Но мало того, что есть в жизни одного из двух господствующих народов Запада симптом, ясно указывающий приближение новой эпохи на континенте Западной Европы. В жизни другого господствующего народа, который каждым изменением в характере своей истории прямо возбуждает или придавливает политическую энергию других западных обществ, замечаются признаки, свидетельствующие о том, что приближается для французских учреждений новый кризис.

Воления, раздиравшие Францию в первой половине 1848 года, были так тяжелы, что президентство Луи-Наполеона показалось отдыхом, успокоением для утомленной нации. Меры, посредством которых Кавеньяк и его партия почли нужным поддержать порядок, были так ужасны, что Луи-Наполеон после Кавеньяка представлялся кротким и легким правителем. Реакционеры, легитимисты и орлеанисты, господствовавшие в Национальном Собрании 1849 года, были так ожесточены против новых учреждений и идей, что, действительно, Луи-Наполеону не было никакой надобности самому принимать какие-нибудь стес-

нительные меры во время своего президентства: все, что могло казаться ему нужным для окончательного подавления пораженной в июне 1848 года революции, с великим рвением и опрометчивою поспешностью делало само Национальное Собрание, не дожидаясь его желания. Ему оставалось только смотреть, как усердно работают другие. Национальное Собрание доходило до таких крайностей, которые даже превышали меру собственной надобности реакционеров, и Луи-Наполеон мог безвредно для своих целей противиться некоторым намерениям их, без пользы раздражавшим народ. Этим он [дешево] приобретал себе оттенок демократизма.

Особенно помог ему в этом отношении знаменитый закон, разными условиями отнимавший у значительной части простолюдинов право быть избирателями. Эта мера против тогдашних знаменитых фантомов красной республики и социализма была совершенно неуместна в 1850 и 1851 годах, потому что работники, против которых она была направлена, и без того надолго перестали быть опасными, потеряв всех энергических своих товарищей в июньской битве и лишившись всех значительных людей близких к ним партий по Буржскому и Версальскому процессам²². Притом же Луи-Наполеон думал, сделавшись безусловным господином над Франциею, обратить выборы в [пустую] формальность, [производимую под строжайшим полицейским и, в случае надобности, военным надзором]. Следовательно, ему легко было выставлять себя защитником народного права, которому он не хотел оставлять серьезного значения. Именно этот маневр, раздор с Национальным Собранием для восстановления *suffrage universel** во всей его обширности, и послужил Луи-Наполеону предлогом к [насильственному] закрытию Национального Собрания, пробудившего против себя сильную ненависть в массах стремлением восстановить прежнюю монархию, представители которой, Генрих V и принц Немурский (ему следовало быть регентом малолетнего Орлеанского претендента), не пользовались популярностью. Напротив того, Луи-Наполеон умел возбудить в массах надежду, что займется общественными преобразованиями для улучшения материального быта. Правда, в целые три года своего президентства он ничего не сделал в этом смысле, но он постоянно сваливал вину своего бездействия на Национальное Собрание, совершенно связывавшее будто бы ему руки своею враждою. Действительно, Национальное Собрание враждовало с президентом; с тем вместе оно враждовало и против низших классов. Натурально, масса пришла к тому убеждению, что, имея тех же врагов, как и президент, должна смотреть на него как на своего друга. И в самом деле, как мог не верить наивный и честный [человек] тому, что президент желал бы

* Всеобщее избирательное право. — *Ред.*

водворить во Франции новый порядок гражданских отношений, благоприятный для низших классов? Ведь Луи-Наполеон, когда был еще изгнанником или пленником, написал множество горячих сочинений, в которых являлся приверженцем новых социальных теорий и доказывал, что династия Бонапарте — вернейшая представительница демократического принципа. Правда, будучи президентом, он часто говорил против опасных мечтателей, прибегающих к оружию для изменения гражданского быта. Но ведь он говорил только против безрассудных мер, против кровавых восстаний и уличных смут, — тут нет еще ничего противного народному интересу. Ведь народ испытал в июне 1848 года, что восстание обращается на гибель ему самому; а через год, в июне 1849 года, он видел, что люди, против которых восстает иногда Луи-Наполеон, приглашают простолюдинов к восстанию, ничем не обеспечив его успеха, не сообразив, благоприятствуют ли обстоятельства их замыслу. Что ж, Луи-Наполеон прав: они в самом деле люди не практичные, опасные мечтатели. А против идей, которыми они приобрели некогда доверие народа, Луи-Наполеон ничего не говорит; он не отказывается от своих прежних мыслей, напротив, постоянно твердит, что призван судьбою осуществить их, но только осуществить практичным образом, в пределах благоразумия, путем порядка. Стало быть, вся разница между ними и красными республиканцами или социалистами в том, что те люди опрометчивые и непрактичные, а он практичен и благоразумен: нельзя сказать, чтобы разница не была в его пользу. Народ уже испытал плоды мечтательности и понимает цену благоразумия. Так думала значительная часть народной массы, пока продолжалось президентство Луи-Наполеона, и очень многие простолюдины с большими надеждами встретили 2 декабря; но, разумеется, главным обстоятельством надобно тут считать то, что Национальное Собрание, против которого направился удар, состояло из реакционеров, представителей ненавистой буржуазии, на которой лежало проклятие простолюдинов за июньские свирепости, за множество придуманных ею потом стеснительных мер, за явное стремление к восстановлению старого порядка.

В продолжение целых трех с половиною лет Луи-Наполеон умел поддерживать мнение о себе как о друге народа, призванном осуществить социальные теории, призванном незыблемо утвердить во Франции владычество демократии и преобразовать к лучшему материальное положение массы. На этом был основан его успех 2 декабря, а на успехе 2 декабря основалась репутация его гениальности. Действительно, нельзя не признать его чрезвычайно замечательным человеком со стороны умения пользоваться обстоятельствами для своих видов [для устройства своих дел. Это качество сильнее всего развивается постоянным и исключительным положением думать единственно о себе]. Но [для того,

чтобы быть хорошим правителем, нужно другое качество, именно способность думать о выгодах ближнего, о пользах общества, о благе нации.] Дело частного человека, прокладывающего себе дорогу вперед, совершенно не таково, как дело правителя, задача которого состоит в удовлетворении потребностям общества. Очень часто бывает, что чрезмерное сосредоточение мысли на первом предмете лишает человека и охоты, и возможности подготовиться к занятию вторым предметом, а без приготовления и охоты никогда не будет и умения. В истории много примеров тому, что люди, с чрезвычайным искусством доходившие до получения власти, лишены были способности пользоваться ею. Все министры Людовика XV, все министры Иакова II и королевы Анны принадлежали к людям такого типа. [Надобно перечитать историю этих эпох, и для нас совершенно объяснится различие между Луи-Наполеоном, стремящимся к президентству и потом к императорству, и между Луи-Наполеоном, управляющим Францией под именем Наполеона III.

Факты о внутреннем управлении Наполеона III со времени восстановления империи изложены в статье, которую читатель найдет в этой книжке²³. Неизвестный автор статьи, заимствованной нами из английского журнала *, находит Луи-Наполеона замечательным правителем только в сношениях с другими державами; и мы заметим, что этот факт подтверждает нашу мысль об исключительном источнике талантов, приписываемых Наполеону III. В иностранных делах цель обыкновенно та, чтобы приобрести как можно больше влияния и могущества. Ясно, что тут для Наполеона III-правителя продолжается то же самое дело, которым занимался он во Франции до восстановления империи. Только сфера действия обширнее, а интерес деятельности тот же самый, чисто личный интерес. Понять, какого союза выгоднее держаться, какими столкновениями как воспользоваться для извлечения себе выгод, до какой поры поддерживать ** или вражду с кем-нибудь, кому и какую услугу надобно оказать, кого и как уколоть или обойти, — все это принадлежит к той заботе, которая исключительно занимает Наполеона III, и потому он может мастерски вести дипломатические дела.

Но совершенно не таковы задачи внутренней политики, тут личное дело уже] доведено восстановлением империи до полного окончания: нечего более желать, не к чему более стремиться, кроме только упрочения своего настоящего положения. Власть приобретена была такая беспредельная, [такая произвольная], что дальнейшего расширения для нее не существует, надобно только употреблять ее. [На что же употреблять? Обязанность правителя требует осуществления известных убеждений, удовлетворяющих,

* «Вестминстерское обозрение». — *Ред.*

** В журнальном тексте пропущено слово «мир» или «согласие». — *Ред.*

по его мнению, нуждам общества. Но есть характеры, неспособные иметь никаких убеждений или потому, что вовсе лишены всякой энергии, или потому, что ум, занявшись каким-нибудь одним специальным, так сказать, техническим делом, теряет всякий интерес к общим идеям, ко всему тому, что выходит за границы личных забот и из чего возникают убеждения. В недостатке твердой воли Наполеона III нельзя подозревать, но все-таки он не имеет никаких твердых убеждений, кроме одного, что правительственный механизм, придуманный его дядею, чрезвычайно хорош. Да и эта мысль держится в нем твердо единственно потому, что действительно механизм первой империи действительно самый лучший, лучший для доставления безграничного произвола лицу, держащему его в руках. Словом сказать, и тут опять исключительно субъективная мысль, никак не заменяющая совершенного недостатка убеждений.

Правда, Наполеон высказывал разные убеждения. До той поры, как сделался кандидатом в президенты, он утверждал, что любит первую империю за ее революционное происхождение, что сам он — революционер и хочет войти на императорский престол революционным путем, чтобы быть на нем послушным исполнителем требований социализма. Сделавшись кандидатом в президенты, он стал утверждать, что первая империя была хорошою формою для своего времени, а теперь была бы совершенно неуместна и дурна; что республика действительно лучшая форма правления, и что он искреннейший республиканец, но что революционный путь гнусен и гибелен; что революционерство было у него пагубным влечением молодости; что Луи-Филипп поступил совершенно хорошо, посадив его в Гамскую крепость; что он действительно был преступником, когда являлся в Страсбурге и Булони; что он раскаивается в этом, и т. п. После 2 декабря он снова находит, что республика — чистейшая нелепость, но уже молчит о социалистских рассуждениях своих, писанных в Гамской крепости, утверждая, что всякое преобразование в общественных отношениях было бы нарушением общественного порядка. К такому разнообразию в словах надобно прибавить, что его действия постоянно не имели никакого отношения к словам, которые всегда служили только средством заявить себя приверженцем такой партии, расположение которой казалось ему полезным. Они удовлетворяли этой цели, пока не было у него власти, или пока мог он утверждать, что власть его стеснена сопротивлением Национального Собрания. Но когда не стало этого оправдания для бездействия, то открылось, что за словами не было ничего, кроме желания достигнуть безграничной власти. Что делать с ней, на что употребить свое безграничное могущество, он не знал и не знает до сих пор. В статье, нами переведенной, доказано фактами, как шатки были все его намерения произвести ту или другую реформу, какую слабость и робость обнаруживал он во всех тех ме-

рах, которые не внушались ему интересом самоохранения, как неловко брался он за дело и как торопливо покидал его при первом неудовольствии. Он знал, что надобно сделать что-нибудь для пользы общества, но что именно и как, он не знал. Затруднительность его положения может быть понята теми из нас, которые решительно лишены вкуса, например, в музыке, живописи, поэзии или скульптуре. Смотрит, например, на картину, и что подумать об ней, похвалить или осудить ее, решительно не знает, надобно однако же сказать что-нибудь для поддержания своей репутации, и скажет, что картина хороша. Помилуйте, она дурна, возразит сосед. Он пробует защитить свое мнение, но с нескольких слов его разбили, и [он] поспешно прерывает спор, заводя речь о другом предмете. А, может быть, картина и в самом деле не дурна, но как ему знать это, на чем опереться, когда он сам чувствует, что картина не производит на него ровно никакого впечатления.

Мы уже говорили, что люди, все мысли и заботы которых сосредоточены на личных делах, не могут верно судить о предметах общего интереса, потому что неспособны принимать к сердцу чужие интересы. Все, что не освещено для них расчетом их собственной выгоды, навсегда остается для них темным. Не имея чувства истины, они действуют только наудачу там, где не говорит инстинкт личной пользы, и потому действуют слабо, робко, бессвязно и бесплодно.

А между тем могущество приобретено страшное, энергия воли чрезвычайно сильна, и нет могуществу и характеру никакого занятия, кроме охранения собственных интересов. Понятно, с какою напряженностью обращается сила на единственный предмет для нее занимательный. Понятно также, как неизбежна чрезвычайная подозрительность в человеке, чувствующем свою неспособность к исполнению принятой на себя обязанности, и как усиливается подозрительностью напряжение забот о самоохранении. Отсюда объясняются все те многочисленные стеснительные меры, ряд которых наполняет всю историю внутреннего управления при Наполеоне III.

Само собою разумеется, что при подобном характере внутренней политики,] прежние чувства массы должны были скоро смениться неудовольствием. [«Как много для себя, как сильно и успешно все для себя и как мало для общества; и какая же нам польза? что мы выигрываем чрез 2 декабря?» — думал каждый. Появление неудовольствия заставило прибегнуть к мерам еще более стеснительным, от них неудовольствие только росло быстрее и быстрее.] Надобно было чем-нибудь отвлечь внимание общества от внутренней политики и найдено было к тому средство в искусственном возбуждении биржевых спекуляций. Но скоро и этого стало мало: [с небольшим через год после 2 декабря] пришлось начать войну, совершенно ненужную для Франции²⁴.

Успех этих средств известен: войну пришлось прекратить, чтобы не повредить самому себе ее продолжением: прежний союзник * был раздражен, бюджет расстроен хуже прежнего, положительных выгод государству война не успела доставить никаких. [Через несколько месяцев но ее окончании убедились в ее ненужности и бесполезности для Франции даже те, которые на минуту были ослеплены батарейным фейерверком, и все убедились, что война была просто следствием личного расчета. К тому же времени начал с довольно смрадным запахом гаснуть и другой фейерверк, отвлекавший внимание толпы от внутренней политики. Чрезмерно-возбужденные спекуляции истощили запас капитала и запас доверия публики.] Биржевые курсы стали падать, и напрасны были все усилия поддерживать фонды, а колоссальные компании, ослеплявшие всех фальшивыми дивидендами, увидели свои акции упавшими до половины и еще ниже против прежней цены. В это время произошло покушение Орсини на жизнь Наполеона III. Последствия этого случая известны. Меры предосторожности, принятые Наполеоном, были [так ужасны], что до крайности увеличили общее неудовольствие, и менее нежели через полгода он принужден был отказаться от [терроризма, которым думал ограждать себя.] Покушение 14 января ** послужило поводом и к первому [поразительному] неуспеху Луи-Наполеона во внешней политике. Он раздражил англичан нападениями на их учреждения, [появлявшимися в газетах правительственной партии;] он оскорбил их угрозами вторжения в Англию и неосторожным требованием изменить коренной закон Англии. Негодующая нация низвергла министерство ***, подчинившееся французскому влиянию, [и общественное мнение произнесло приговор через присяжных одному из участников в замысле Орсини 25* ***]. Сначала Наполеон думал запугать рассердившихся англичан и послал в Лондон Пелиссье, который бы заговорил с англичанами языком лагерных приказаний. Но едва дошли в Англию слухи о назначении нового посланника с таким значением, как раздалась насмешки, показавшие бессилие угроз, и пришлось истолковать грозное назначение в смиренном смысле, будто бы Пелиссье выбран именно для того, чтобы напомнить англичанам об идиллических временах нежной их дружбы с французами под Севастополем, и объяснить, что бомба вовсе не начинена порохом, а наполнена конфетами. Потом почтено было нужным, чтобы важнейший между наперсниками императора, Персиньи, сказал в собрании одного из департаментских советов речь, которая служила бы извинением перед Англиею. Эти неж-

* Англия. — *Ред.*

** 1858 года. — *Ред.*

*** Пальмерстона. — *Ред.*

**** Симону Бернару. — *Ред.*

ности не смягчили англичан, но зато послужили прикрытием полного дипломатического поражения.] Едва кончилась несчастная история с Англией, как было употреблено в дело новое средство отклонить внимание нации от внутренних вопросов. Начались слухи о войне с Австриею для освобождения Северной Италии. [В этом спектакле надобно было бы ожидать успехов.] Но до сих пор нет еще доказательств, что угрозы осуществятся [они останутся одними словами, как в раздоре с неаполитанским королем]. Если война же действительно начнется, она на несколько времени задержит опасность, [грозящую французскому правительству:] но еще больше расстроит финансы, и каждый месяц отсрочки будет куплен двойным приближением неизбежного финансового кризиса.

[Дипломатическое поражение разрушило ореол всемогущества над Европою, которым украшался Наполеон III во мнении французов.] Необходимость отставить Эспинаса, [министра-террориста, и против собственной воли смягчить] внутреннюю администрацию была первою победою общественного мнения над коренным принципом наполеоновой системы. [До той поры император отступал перед оппозициею множество раз, но только в таких делах, которые не относились к его личным интересам; теперь он отменил меру, прямо выходящую из его заботы о самом себе, из его единственного убеждения. Он признал, что даже и свой принцип, в котором прежде был непреклонен, теперь не в силах уже он поддержать против оппозиции. Вся Франция, самые приверженцы его увидели и даже сам он признался, что, приняв слишком произвольные меры после покушения Орсини, он выказал опрометчивость, потерял рассудительность в единственном вопросе, который вел до той поры непогрешительно, в вопросе о собственных выгодах. В первый раз он растерялся тут и наделал вреда сам себе, прибегнув к средству, совершенно не соответствовавшему цели.] Несостоятельность его [поддерживать далее принцип безграничного произвола] раскрылась так ясно для всех, что надобно было вывести некоторые из правительственных газет на совершенно новую для них дорогу уступок общественному мнению. Они заговорили о том, что стеснение свободы не есть коренная черта наполеоновской системы, а только временная мера, которая нужна была в первые годы нового правления, пока нация не привыкла к нему; что теперь правительство думает отказаться от стеснений; они советовали ему поскорее «довершить конституцию» дарованием журналистике широкой свободы. Оказалось мало этих советов; почли нужным, чтобы ближайшие официальные советники императора высказали ту же мысль не только как желание некоторых частных людей, пользующихся благосклонностью правительства, но и прямо, как положительное намерение самого императора. Морни и Персиньи, назначенные президентами двух департаментских советов, воспользовались от-

крытием их для произнесения речей о том, что империя примиряется с свободой; что напрасно думают, будто между этими двумя принципами есть несовместность, что, напротив, правительство нуждается в советах независимого общественного мнения. И этого всего показалось еще мало. Император почел нужным примириться с своим кузеном, принцем Наполеоном, которого прежде держал в немилости, как вредного демократа. [Много ли серьезности в демократизме принца Наполеона, этого нам не нужно разбирать, довольно того, что он слывет в реакционных кругах красным, чуть ли не республиканцем и чуть ли даже не социалистом.] За эту репутацию [до сих пор мешавшую его земному преуспеянию,] теперь увидели в нем полезного правительству человека [и сочинили] для него новый министерский департамент — Алжирии и колоний. [Собственно говоря, новый департамент не был нужен для администрации и служит только для увеличения беспорядицы в алжирских делах, потому что новый министр лишнее звено в механизме при существовании алжирского генерал-губернатора. Но драгоценно было то, чтобы доставить принцу Наполеону место в совете министров, официальное участие в правительстве;] через это правительство, по выражению покровительствуемых им газет, «обновлялось погружением в демократический элемент и укреплялось в либеральном направлении мудрыми советами принца Наполеона, известного своею преданностью делу свободы». [Мудры ли советы принца Наполеона, способен ли он давать их и способен ли его кузен слушать их, разобрать это уже дело самих французов, а для нас интересен только тот факт, что империя принуждена делать, хотя на словах, уступки либеральным партиям и признавать несовместность прежней своей внутренней политики с требованиями общественного мнения. Целым рядом обещаний она старается смягчить его, но все напрасно: уже обнаружилось для всех бессилие прежней системы], и воодушевляются гражданским мужеством даже те бесцветные люди, которые семь лет не смели пикнуть ни слова. Какое-нибудь «Revue des deux Mondes», два-три месяца тому назад наполнявшее свою политическую хронику разборами французского перевода книги Маколея, истории Пьемонта, написанной на итальянском языке Кьялою, мемуаров графа Мио-де-Мелито, драмы в стихах «Персты феи», написанной господами Скрибом и Легуве, и других столь же политических предметов, — это «Revue des deux Mondes» с июля месяца прошлого года отваживается возвышать голос, требует свободы для политических прений в журналистике и не боится даже подозрений в несогласии своих желаний с наполеоновскою конституциею, без страха называя своих противников абсолютистами, а их мнения анахронизмами. Послушайте, как рассуждает политическая хроника «Revue des deux Mondes» 1 августа: «Мы неуклонно будем возвращаться к великим вопросам, недавно предъявленным. На

наши прежние советы о необходимости либеральных уступок нам отвечали истинными анахронизмами. Нас выставляют защитниками парламентаризма, противниками нынешней системы. Слишком много чести для нас, милостивые государи. Мы не имеем претензии разбирать нынешнюю конституцию; даже в нынешнюю летнюю пору мы не имеем охоты пускаться в эту мерзлую область. Мы не хотим даже заглядывать под вуаль конституции, мы не позволяем себе таких фамильярностей с нею; мы довольствуемся тем, что верим на слово привилегированным счастливым, которые водят ее под руку. Что говорили они? Они говорили, что политическое движение нынешней Франции имеет два рычага: инициативу верховной власти и самодержавное общественное мнение, всегда одерживающее последнюю победу. Они говорили серьезно, мы хотели и хотим верить этому серьезно. Результатом того было наше требование, чтобы самодержавие общественного мнения было избавлено от опеки. Мы требуем перемены в законах, которым ныне подчинена журналистика». Одной половиною своих газетных органов правительство было принуждено одобрять эти требования, но другая половина полуофициальных газет защищала прежнюю политическую систему. Но [увы,] было уже поздно: уступки только вели к усилению требований, [противоречия только пробуждали сильнейшие насмешки над системою, уличенною в бессилии]. Через два месяца, 1 ноября, хроника «Revue des deux Mondes» говорила еще несколькими тонами выше, уже прямо обвиняя в злонамеренности и безумстве [абсолютистов], прибегавших к разным изворотам для защиты прежней системы, которую уже не смеют они защищать открыто. «Мы не побоимся (провозглашала хроника) прямо сказать, что только люди дурного ума могут приписывать мелочному раздражению выражаемую нами потребность в свободе политических прений. Интересы, с которыми связано во Франции дело либерализма, так высоки и велики, что, разумеется, должны возбуждать искреннее и горячее беспокойство в людях, приверженных к другому образу мыслей. Дело либерализма связано, по нашему мнению, с делом народной чести и общественного спокойствия. От свободы для Франции зависит честь, потому что самым оскорбительным унижением для нашей родины было бы, если бы она дала уверить себя, что она действительно неспособна принимать участие в управлении своими делами посредством непрерывного и полного пользования политическими правами. Точно так же, по нашему мнению, от свободы зависит и общественная безопасность: степенью способности народа управлять самим собою измеряется степень его безопасности. Как ни преувеличивайте раболепную лесть, а все-таки ваши великие люди зависят от нации, которою, повидимому, руководят. Этим всегда кончается дело: в истории самых порабожденных и послушных народов бывают минуты, когда общественная власть изнемогает, и восста-

новить ее можно только совокупными силами целой нации. Не ясно ли, что лучшим приготовлением к такому критическому положению служит для народа свобода? Да и не говоря уже о чрезвычайных обстоятельствах, мы живем в такие времена, когда участие общественного мнения в правительственных делах представляется практической необходимостью. Ныне все смотрят на правительство просто как на дирекцию коммерческой компании, акционеры в которой — все мы; и как бы ни были искусны директора, акционеры иногда лучше их знают, как надобно вести дела компании. Власть лежит ныне во всех нас, происходит из нас; та власть, которую имеет правительство, только вручена ему нами, как нашему поверенному в делах. Итак, мы сохраняем относительно правительства все те права контролировать его, и в случае надобности брать инициативу в свои руки, — все те права, которые имеет доверитель над своим поверенным. Эти права на государственном языке называются политической свободой; она состоит в свободе тиснения, в свободе и публичности прений совещательных корпораций государства. Народ, не пользующийся этими правами, не изучающий своих выгод, не ведущий надзора за своими делами, не подающий правительству советов и внушений, которые правительство может получать только от него, — такой народ не замедлит понести наказание за это забвение своих обязанностей: он подвергнется долгим и бедственным волнениям. Мы опасаемся, что стеснение, наложенное на некоторые наши права, приведет к таким последствиям, если продлится сверх меры. Наши революции свидетельствуют о том, и своими настоятельными требованиями мы хотим предупредить новые опасности». Каков язык? — и от кого же? Вы подумаете, что читаете Руссо или по крайней мере Ледрю-Роллена, — нет, вы читаете смиренное «*Revue des deux Mondes*», которое «всегда было другим порядком и повиновения существующим законам». О вашей конституции, говорит оно, мы и толковать не хотим; пусть занимаются ею те, кому охота хвалить это мерзкое существо. Вы утверждаете, что наше желание противоречит конституции, — такой ответ чистый анахронизм; мы уже сказали, что нам нет дела до вашей конституции. Мы требуем свободы. Вы противоречите нам, — что же за важность: из этого видно только, что вы люди дурного ума. Два месяца тому назад мы требовали только изменения законов о книгопечатании, вы не соглашались, — так теперь нам этого уже мало: мы требуем теперь свободы тиснения и парламентской формы правления. Ведь вы — не больше как только наши поверенные в делах, и мы имеем право полного контроля над вами и, в случае надобности, право взять власть из ваших рук в свои. Пожалуйста же, поторопитесь исполнить наше требование, а не то будет революция. — Каков язык! И хоть бы от демократов, от каких-нибудь красных или хоть бы просто от республиканцев, — нет, от «*Revue des deux Mondes*», которое за

несколько месяцев держало себя застенчивее скромной девушки, от буржуазии, которая, год тому назад, была тише воды, ниже травы: вода забурлила и бурлит безнаказанно.

Да что уж «Revue des deux Mondes»! Оно хотя и трусило и молчало, но по крайней мере не рвалось прежде в переднюю. А вот даже и граф Монталамбер, который так усердно терся в передней, и тот уже бравировал господина, которому присягал не в пример прочим. «Франция порабощена, — пишет он: — нам нужны английские учреждения, мы не хотим быть рабами». Отдавать или не отдавать под суд непокорного служителя? И то, и другое представляется опасным. Наконец, решаются отдать под суд. Половина Франции хохочет скандалу между прежними друзьями, другая негодует на строгость [и бестактность правительства]. Суд приговаривает виновного к наказанию, смягченному до последней крайности. Негодование усиливается. Наполеон III спешит замять дело помилованием осужденного. Осужденный храбрится пуще прежнего. «Не принимаю прощения. Оно незаконно. Вы не имели права давать его. Я подал апелляцию. Вы не смеете прерывать хода правосудия вашими произвольными прощениями, в которых никто не нуждается. Пусть меня судит закон». Опять новые беспокойства в правительстве: может ли суд пересматривать дело, конченное помилованием? Ведь это значило бы соглашаться с Монталамбером, что [император поступил] незаконно, преждевременно вмешавшись в дело. [Оно, может быть, и так, но] все-таки суд принимает просьбу и пересматривает дело, как будто бы помилования и не существовало. Он произносит новый приговор. Давно ли было время, когда такая самостоятельность была бы объявлена [непризнанием императорских прав], несоблюдением конституции? Но теперь [уже не до того, и власть, получившая столько оскорблений, считает] нужным снова замять дело новым помилованием. [«Пустите меня в тюрьму! — кричит Монталамбер: — я не хочу иметь с вами никаких сделок!» и ломится в тюрьму. Его упрасивают пощадить правительство от дальнейших скандалов и остаться свободным. Какая комедия! Но была ли бы она возможна за год или за два? Система ослабела до того, что даже прежние служители нагло отвергают ее милости и вызывают ее на бой с дерзким криком: попробуй ударить, если смеешь! И она не смеет ударить.

Луи-Наполеон чувствует невозможность остановить возрастающую смелость [террористическими] мерами и [видит необходимость прибегнуть к тому средству, которое раз уже употреблял с таким успехом для отвлечения внимания] нации от домашних дел. Распущены слухи о войне Франции с Австрией. Фраза, сказанная австрийскому посланнику на новый год, подтвердила общую молву. «Я скорблю, что наши отношения к вашему правительству не так хороши, как прежде». Итак, война. Но английское

правительство не одобрило сильную фразу, и в официальных французских газетах объясняют, что напрасно придавали ей воинственный смысл, что она сказана была доброжелательно, дружеским тоном; а в разговоре значение слов зависит от тона, которым они говорят; да и самые слова, даже и без всякого тона, как следовало бы принять? Сожалеть о вещи значит — жалеть, что ее нет, и желать, чтобы она была, потому: «я сожалею об ослаблении дружбы с вами», просто значит: «я желаю, чтобы дружба наша восстановилась». [Император просто хотел выразить, что постарается прекратить всякие неудовольствия с Австрией. Вольно же было понимать его слова в другом смысле.]

После таких объяснений, разумеется, трудно сказать, миром или войною кончатся дипломатические столкновения Франции с Австрией. Видно только, что французскому правительству хотелось бы начать войну, но оно пока еще боится прибегать к этому последнему средству для выхода из опасностей, которые росли [для него] постоянно с самого окончания русской войны [и особенно быстро стали развиваться вследствие опрометчивости, овладевшей им после покушения 14 января.]

Англия от опрометчивых угроз [Наполеона] по делу Орсини приобрела [кроме случая выказать уверенность в превосходстве своих сил над силами нынешнего французского правительства] существенную выгоду: излишняя податливость Пальмерстона убила в общественном мнении этого старого шутника, популярность которого была уже несколько лет самым вредным препятствием для внутренних улучшений. Теперь трудно Пальмерстону сделаться главою министерства, а не дальше как за год нельзя было и предвидеть, когда кончится его министерство, отнимавшее возможность всяких улучшений для внутренних учреждений Англии и отвлекавшее внимание нации от всех серьезных вопросов государственного благосостояния дипломатическими фокусами, совершавшимися обыкновенно на маленьких государствах, самая слабость которых должна была бы служить защитой им от пошлых обид. У нас во время войны писали много дурного о лорде Пальмерстоне, считая его истинным виновником страшного кровопролития; но теперь забыта тогдашняя досада, и Пальмерстон снова принимается многими за серьезного государственного человека. Да и прежние порицания ему большею частью приходились не впопад, потому что его, бедняжку, совершенно напрасно винили в русской войне: куда бы ему было решиться на войну с сильной державой! Он удовольствовался бы бумажною перестрелкою да шуточками в парламенте. Греция, это — иное дело; а от России постарался бы отделаться без пушечного выстрела этот, по выражению Диккенса, «старый фарсер, лучший виртуоз фокус-покусов и превращений».

В молодости лорд Пальмерстон был фешенеблем ²⁶ первого сорта и знаменитым Дон-Жуаном. Тот же блеск и ту же любовь

к легким победам перенес он в свою политическую деятельность. Но известно, что [Дон-Жуаны не охотники ухаживать за женщинами, которых нелегко победить, а] франты вообще не любят серьезных занятий. Для реформ нужно серьезное изучение внутреннего быта страны во всех подробностях, и лорд Пальмерстон был всегда врагом реформы, — и тогда, когда был тори, и тогда, когда обратился к вигизму. Но как же он обратился к вигизму? Очень просто, Дон-Жуаны всегда предпочитают те гостинные, в которых можно иметь больше успеха. Во время наполеоновских войн, в 1807 году, когда началась политическая карьера Пальмерстона, владычествовали тори; владычествовали они уже давно и сильно укрепились в министерских и парламентских позициях, так что должны были удержаться в них еще очень надолго; потому и лорд Пальмерстон был тори, а в награду за свой торизм был военным министром. Надобно заметить, что он из фамилии Тэмплей, к которой принадлежат герцоги Бокингемы и Чендосы, стало быть, имел наследственное право на министерский сан. Лорд Веллингтон побеждал французов в Испании, потом в Бельгии, стало быть, военному министру хорошо было говорить в парламенте надлежащие речи. Потом министерства сменялись, потому что различные политические принципы поочередно брали верх один над другим, а лорд Пальмерстон при всех переменах оставался на своем месте, потому что для него были равны всякие принципы. Таким образом дожил он до министерства Веллингтона и по наследству от прежних достался и этому. Но Веллингтон был человек суровый относительно принципов: по его мнению, если уже называться тори, то и не надобно отступаться от торийских правил; через несколько времени он отнял должность у своего товарища. Тогда, разумеется, надобно было перейти в оппозицию: нельзя же не сердиться, потерявши место, на котором сидел 20 лет. Оппозицию были виги, — как же не сделаться вигом?

Тут подоспела июльская революция; отголоском этого потрясения были низвергнуты тори, вошли в министерство виги, с ними и Пальмерстон. Виги предложили парламентскую реформу. Пальмерстон 20 лет противился всяким реформам, но теперь противиться реформе значило б надолго потерять министерское место. Кто себе враг? Пальмерстон не противоречил реформе и остался министром еще на десять лет. С этой поры, с 1830 года он руководил иностранною политикою Англии до прошедшего года, за исключением только двух периодов: министерства Пиля (около 5 лет) и недолгого министерства Дерби (перед русскою войною). Управляя иностранною политикою, он много геройствовал над маленькими государствами, как, например, над Грецией, которую чуть не бомбардировал по делу Пачифико. Кроме того, имел он привычку делать неприятности и сильным державам, но только так, чтобы дело не доходило до войны. Из этой невинной наклон-

ности ободрял он к волнению сицилианцев, ломбардо-венецианцев и венгров, обещая им покровительство Англии. Но когда волнения обращались в вооруженные восстания, и для исполнения обещаний пришлось бы объявить войну Австрии и Неаполю, Пальмерстон рассудил, что это значило бы заводить шутку за пределы благоразумия, и покинутые инсургенты были подавляемы. А, быть может, они и не взялись бы за оружие, если б не получили уверений в покровительстве от лорда Пальмерстона. Где ж было такому человеку, дерзкому над слабыми, робкому перед сильными, начать войну против России? Но он любил шуметь, пока дело не представляло опасности, и говорить в парламенте язвительные речи. Масса, не знавшая его дел (он отличался чрезвычайным искусством очень долго скрывать от парламента дипломатические документы, на все требования отвечая, что переговоры еще не кончены, и обнародование депеш имело бы невыгодное влияние на ход их), принимала слова за дела, полагала, что он на самом деле поступает в переговорах так же храбро, как в парламентских речах, и воображала Пальмерстона героем иностранной политики. На этом основалась его громадная популярность и никто не полагал, чтобы храбрец был храбрецом только до первой угрозы, произнесенной сильным голосом. Это обнаружилось, когда он на угрозы Наполеона, на крики официальных французских газет, что надобно истребить Англию, притон убийц и заговорщиков, — отвечал предложением английскому парламенту изменить английский закон в угодность Франции. Тут в один миг рассеялись многолетние заблуждения и как дым исчезла вся популярность Пальмерстона. Он пал, и если когда-нибудь вновь сделается министром, то уже никак не по собственной силе, а разве по родственным связям [и будет занимать в кабинете уже очень второстепенное место]. Да и то пока остается неправдоподобным²⁷.

Английская нация чрезвычайно много выиграла, освободившись от пристрастия к лорду Пальмерстону, потому что с падением его прекратилась помеха к улучшению внутренних учреждений. Нынешнее торийское министерство, не имея большинства в палате общин своею собственною партией, принуждено искать опоры в том отделе либеральной партии, который недоволен чистыми вигами (пальмерстоновскими и росселевскими) как людьми отсталыми, держащимися слишком узких границ в реформах. В первый раз этот отдел выступил самостоятельную партией по делу о предложении подвергнуть порицанию торийский кабинет за знаменитую депешу, посланную лордом Элленборо к Ост-индскому генерал-губернатору. Но прежде нежели начались прения, открылось, что лорд Элленборо действовал в этом случае без согласия своих товарищей, которые и заставили его выйти в отставку. Этим фактически было уже уничтожено значение депеши, и за предложением подвергнуть порицанию министерство оста-

вался уже один тот смысл, чтобы низвергнуть торийский кабинет. Но в таком случае образовалось бы вигистское министерство Росселя или Пальмерстона, или обоих вместе. Члены, желающие широких реформ, решились сосчитать свои силы, чтобы увидеть, действительно ли от них зависит дать большинство вигам или тори, и в случае, если бы оказалось это, действовать самостоятельно, поддерживать тори или вигов, смотря по тому, которая из двух аристократических партий готова будет сделать им больше уступок.

И вот собрались, чтобы сосчитать своих членов, разные отделы реформаторской партии: люди манчестерской школы, радикалы и те немногие хартисты, которые заседают в парламенте; они увидели, что составляют пятую часть всего числа членов палаты общин. Остальные члены почти поровну разделены на вигов и тори; следовательно, и те, и другие в нынешней палате общин приобретают или теряют большинство, смотря по тому, за них или против них будут члены, желающие широких реформ. Тогда эти члены, соединившись в одну партию «независимых либералов», то есть либералов, недовольных отсталыми понятиями чистых вигов, потребовали от министерства решимости действовать либеральнее чистых вигов. Лорд Дерби должен был согласиться, потому что иначе подвергся бы поражению. Независимые либералы подали голос за министерство: оно было спасено и с тем вместе обнаружилась неизбежность парламентской реформы как единственной цены, которою может быть куплена необходимая торийскому министерству поддержка независимых либералов.

С этой минуты агитация в пользу парламентской реформы приняла огромные размеры, как дело о вопросе, достигшем практического значения. Руководителем агитации был избран по предложению самого Робака, главы радикалов, бывший сподвижник Кобдена по отменению хлебных законов Джон Брайт, в настоящее время едва ли не первый по таланту между всеми английскими ораторами, один из честнейших людей в Европе. Читатель, конечно, видел в газетах извлечения из его речей в главных городах Великобритании на митингах, собиравшихся для изъявления сочувствия к делу парламентской реформы. Мы должны будем много раз возвращаться к этому предмету и тогда изложим его подробнее, а теперь скажем лишь несколько слов о личности государственного человека, ставшего во главе реформирующей партии, о смысле движения, избравшего своим оратором этого честного квакера, и о тех шансах, какие теперь имеет дело парламентской реформы.

Брайт — один из тех государственных людей, для которых еще недавно не существовало возможности в Англии. Почти до конца второй четверти нынешнего века вся государственная власть была там захвачена двумя аристократическими партиями, потому что и виги, предводители которых всегда были аристокра-

тами по происхождению, давно уже сделались узкими аристократами также и по своим политическим принципам. Первым примером сильного государственного человека, давшего парламентским решениям направление, независимое от аристократических расчетов, явился Роберт Пил в 1846 году, когда принудил значительную часть торийской партии подать голос за отменение хлебных законов. Но при этом случае он только воспользовался могущественным положением, которое занимал; а этого могущественного положения он достиг только тем, что совершенно примкнул к тори и много лет был послушным их органом. Без своего торизма он был бы ничем. После отменения хлебных законов аристократические партии начинают понемногу дряхлеть при могущественном напоре новых идей; от них начинают отделяться люди с более светлыми головами: от торийской партии — пилиты, от вигов — манчестерская школа и радикалы. Когда-нибудь мы расскажем весь ход этого изменения, а здесь заметим только одно: до половины последнего года разложение прежних аристократических партий не достигло еще таких размеров, и новых людей с независимыми понятиями в палате общин было еще не так много, чтобы характер палаты общин существенно изменился. Правда, пилиты приобретали по временам довольно важное участие в составе того или другого кабинета; правда, по предложениям радикалов Робака и Мильнера-Джибсона принимались иногда довольно важные решения; но все это бывало только счастливою случайностью, не изменявшею общего хода дел. Верховное руководство государственными делами никогда не выходило из рук аристократов или если не аристократов по происхождению, то послушных представителей той или другой аристократической партии. Если не тори, то виги, если не виги, то тори — другой альтернативы не было. Если не лорд Дерби с своим помощником д'Израэли, то лорд [Джон Россель или лорд] Пальмерстон или оба вместе, — других правителей Англия не могла иметь. Всего только полгода тому назад люди, не принадлежавшие к аристократическим партиям, нашли себя в палате общин достаточно многочисленными для того, чтобы составить новую, независимую партию и свергнуть с себя зависимость от вигов. Главные лица этой новой партии: Кобден, Робак и Брайт. Не знаем, кто из них будет постоянным ее предводителем, но по делу парламентской реформы она избрала своим предводителем Брайта.

Джон Брайт, сын Джемса Брайта, ланкаширского фабриканта, родился в 1811 году, следовательно, теперь ему около 47 лет. Отец его был квакер, и он воспитан в правилах этого исповедания, из которых неуклонно следовал всегда двум основным: говори всегда правду, хотя бы пошлое житейское благоразумие предписывало молчать о ней, и считай преступлением войну, как убийство. Знаменитость его началась чрезвычайно энергическим и блистательным содействием Кобдену в агитации для отмены

хлебных законов. Речами на митингах по этому вопросу он приобрел такую известность, что в 1843 году мог явиться кандидатом в Дёргеме, где протекционисты были чрезвычайно сильны. Его соперник лорд Денгеннон одержал верх, но только посредством подкупа; это было доказано, и парламент объявил выбор недействительным. Тогда Брайт снова явился кандидатом и был выбран в члены парламента. Деятельность его в парламенте и на митингах с каждым годом увеличивала его славу, и в 1847 году Манчестер, центр агитации против хлебных законов, единогласно избрал своим представителем его вместе с Кобденом. В парламенте он, разумеется, энергически поддерживал все либеральные предложения, и популярность его возрастала до самой той поры, когда поднялся в Англии фанатический вопль против папизма, по случаю официального назначения папою католического архиепископа (кардинала Уайзмана) и нескольких католических епископов для Англии. Брайт не мог для сохранения популярности пожертвовать убеждением в обязанности каждому просвещенному человеку защищать свободу совести и восстал против нетерпимости. Это несколько повредило ему в общем мнении. Но он все-таки пользовался любовью, и при новых выборах в 1852 году Манчестер остался ему верен. Но вот началась русская война. Брайт всячески старался предупредить ее, доказывал ее ненужность, указывал средства избежать ее; на него стали смотреть очень косо.

Война началась, судьба английской армии была печальна, национальная гордость англичан жестоко страдала и потому их раздражение было безгранично. Общий крик: «надобно как можно энергичнее продолжать войну, чтобы загладить первые неудачи и ошибки, чтобы рассеять в иностранцах и в нас самих сомнение о нашем могуществе», заглушал все другие речи, подавлял все другие чувства. Страшно было противоречить безграничному увлечению; замолчали почти все не одобрявшие войну. Брайт не отступил от исполнения того, что считал своею обязанностью. Громче прежнего он доказывал ненужность войны. Все закричали, что он — изменник отечества, что он — сумасшедший негодяй. Вся популярность его исчезла, он подвергся презрению и ненависти нации. Но не отступил он от обязанности говорить ей то, что считал правдою. Во время войны у нас было переводимо множество отрывков из его удивительных речей; но выбор делался обыкновенно очень односторонним образом, так что публике нелегко было отгадать существенный смысл сопротивления Брайта войне. Многие полагали у нас, что Брайт осуждает войну из пристрастия к России; другие думали, что он проклинает ее только как филантроп, как сентиментальный мечтатель или как сектант, единственно из теоретических или религиозных убеждений о грехе проливать человеческую кровь. Нет, он доказывал ненужность войны с чисто-английской точки зрения, имея в виду

интересы не России, а своей родины, и доказывал это соображениями чисто практическими, говорил как государственный человек, а не как идеалист. Он доказывал, что могущество России не до такой степени безмерно, чтобы цивилизованным странам Западной Европы можно было серьезно страшиться его. Он доказывал, что Россия едва ли хотела и едва ли могла овладеть Константинополем, если бы даже западные державы и не подавали помощи Турции. Во всяком случае, говорил он, Турция так нелепа и расстроена, что не служит оплотом Западной Европе против России, и если не может охраниться от России своими Балканами, пустынями и болотами, то лучше и не поддерживать ее, потому что поддержка будет стоить гораздо дороже, нежели стоило бы прямое столкновение с Россиею на западно-европейской почве. Он говорил, что излишнее расширение границ не усиливает, а ослабляет государство, и если бы Россия завоевала Турцию, то не укрепилась бы, а изнурилась бы присоединением болезненного нароста к своему организму. Наконец, он доказывал, и это было главнейшим его основанием, что могущество государства зависит гораздо больше от его богатства и умственного развития, нежели от его обширности и числа его жителей. Потому, говорил он, пусть Россия делает, что хочет, лишь бы не мешала вашим домашним делам. Если она кажется вам опасною своим могуществом, если вы находите нужным принять какие-нибудь усиленные меры, чтобы взять перевес над нею, эти меры должны состоять в усиленной заботливости английского правительства о развитии английской промышленности, о распространении просвещения в Англии и более всего о возвышении благосостояния бедных классов английского народа. Последняя забота важнее всех, как потому, что благосостояние массы само по себе — главнейший источник государственного могущества, так и потому, что оно служит необходимым условием для развития двух других условий государственной силы, — для развития промышленности и просвещения. Если вы пойдете по этому пути быстрее, нежели Россия, с каждым годом вы будете становиться сильнее ее; а если она хочет идти другим путем, путем войны, завоеваний и насилия, она быстро будет терять и прежнюю свою силу. Но я не желаю вреда никакому народу, хотя больше всего желаю пользы своему. Я не радовался бы, если бы Россия действительно хотела губить себя войнами и завоеваниями. Я хочу думать, что нынешнее столкновение ее с Турцией было только следствием несчастных обстоятельств, которые скоро минуются; и во всяком случае нельзя не предвидеть, что очень скоро она обратит свои силы вместо завоеваний на развитие истинных источников могущества, на заботу о своей промышленности, своем просвещении, о благосостоянии своих простолудинов, и как вы, если будете благоразумны, быстро станете усиливаться, так будет возрастать и ее истинное могущество. Пусть возрастает: мы должны желать ей

того, как надобно желать и всякому другому народу, потому что такое могущество дает только счастье и безопасность самой державе, им владеющей, а не представляется опасностью для других держав: ведь оно основано на промышленности, образованности, на благосостоянии массы народа; а чем промышленнее и образованнее государство, тем меньше ищет оно войны, и чем благосостоятельнее масса народа, тем усерднее народ станет в случае надобности защищать свои границы, но тем меньше будет у него охоты нападать на других.

Такова была сущность мыслей, которыми Брайт доказывал ненужность и вред войны с Россиею для самой Англии. В те времена раздраженные, ослепленные англичане вознегодовали на него за такие речи; он сделался предметом самых позорных ругательств и проклятий, самой нелепой клеветы. Он безумец, он изменник родине, он защитник деспотизма, он подкуплен Россиею, он — раб русского царя, кричали про него все. Он остался верен своей обязанности говорить правду, но ненависть и гнев народа, который он так любил, тяжело подействовали на него, так что его здоровье расстроилось, и по окончании парламентской сессии 1855 года он, изнуренный борьбою, для поправления здоровья уехал в Италию. Разумеется, к прежним клеветам тотчас же прибавилось новое истолкование: прежде его называли гнусным изменником, теперь дополнили его характеристику помешательством. Озлобление против него было так упорно, что при выборах в марте 1857 года Манчестер лишил Брайта (вместе с Кобденом, который действовал в том же духе и подвергся той же ненависти, как Брайт) звания своего представителя.

Но тут начинается новый переворот в общественном мнении относительно Брайта и его товарищей. Исключение из парламента людей столь замечательных было несправедливостью уже слишком резкою, и нация вдруг вспомнила о их прежних заслугах по отмене хлебных законов. Да и притом, кто будет разбирать в палате общин промышленные вопросы с глубоким знанием дела, с совершенною проницательностью, если не будет в ней представителей манчестерской школы? Они необходимы для палаты, и при дополнительных выборах они введены были в парламент. Брайта выбрал Бирмингем. Скоро после того нация разочаровалась в Пальмерстоне, в жертву которому принесла Брайта и его товарищей. Воинственный жар успел остыть, последствия войны подтвердили фактами справедливость мнений Брайта. Все убедились, что Турция не стоила потраченных на нее сил, Россия по окончании войны предалась новому направлению, неизбежность и пользу которого предсказывал Брайт, и, занявшись благотельными внутренними преобразованиями, фактически доказала, что не хочет страшить Европу с вредом для себя, а заботится о действительном своем благе, с пользою и для самой Европы. Популярность Брайта исчезла в несколько недель, заменившись

прежнюю или еще большею любовью нации. Масса народа в Англии, как и повсюду, прямодушна и расположена ценить прямоту характера чуть ли не выше всего. Англичане поняли, какая редкая честность нужна была Брайту, чтобы не замолчать во время войны перед раздраженной нацией о ненавистной тогда истине; какую чрезвычайную преданность общему благу доказали он и его товарищи, не колеблясь жертвовавшие собою для отклонения нации от разорительной ошибки. С уважением к нему как к великому оратору, с возвращением наклонности к признанию правды в его убеждениях, соединилось чрезвычайное почтение к удивительной прямоте и честной твердости его характера. В это время возродилось стремление к парламентской реформе, на время подавленное войною, и Брайт, явившийся самым блистательным оратором на митингах в пользу этого вопроса, был избран от всей партии реформаторов по предложению самого Робака, который один мог иметь притязание на соперничество с ним, главою реформационного движения. Какое участие принимает он в нем, мы расскажем после, а теперь мы хотели только сказать, каков человек, избранный английскою нацией в руководители такого дела, перед которым ничтожны все другие дела, занимающие теперь Англию.

Сравните Брайта с Пальмерстоном, и вы поймете, как будет отличаться от прежней английской политики новая: когда партия, одушевленная понятиями, производящими ныне реформу, станет сильнее двух прежних партий, тогда будут невозможны государственные деятели, подобные лорду Пальмерстону. Дурные люди останутся, но принуждены будут руководиться в своих государственных действиях мнениями честных людей. Очень вероятно, что часто будут управлять государством попрежнему тори или виги, но они должны будут, чтобы удержаться в министерстве, поступать сообразно с требованиями новых людей, понимающих государственное благо вернее их. Начало этому новому периоду английской истории мы видим уже теперь, когда лорд Дерби (этот идол крыловской басни, изрекающий мудрые ответы, потому что в нем сидит жрец очень тонкого ума, д'Израэли), этот наследник людоедов, подобных лорду Лондондерри, является уже гуманным и просвещенным правителем, потому что независимые либералы накинули довольно крепкую узду на него и его товарищей. С течением времени узда будет становиться крепче и крепче, т. е. и в виггах, и в тори будет еще больше хорошего, вкладываемого в их действия если не внушениями собственного сердца, то внешнею необходимостью. С этой стороны, со стороны уступок требованиям просвещенных людей среднего сословия, доселе остающихся в Англии защитниками интересов и простого народа, история министерства лорда Дерби чрезвычайно занимательна. Мы теперь коснемся смысла главнейшего из ее эпизодов, смысла подготовляемой агитациею парламентской реформы. Чего

хотят люди, избравшие своим предводителем Брайта? Чем недовольны они в нынешнем устройстве парламента, и каков был бы результат требуемых ими перемен? В следующем изложении мы будем отчасти пользоваться статьею Файдера, помещенною в «Indépendance Belge» 8 и 9 декабря прошлого года.

Первое изменение, требуемое реформационною партией, относится к продолжительности срока, на который избираются члены палаты общин по распусшению прежнего парламента.

По старинным законам продолжительность одного и того же парламента не была ограничена никаким сроком и зависела единственно от воли короля. Он мог сохранять один и тот же парламент во все продолжение своего царствования, если находил то удобным для себя и полагал, что новые выборы будут ему менее благоприятны, нежели выборы, произведенные при его восшествии на престол. Таким образом один из парламентов, бывших при Карле II, продолжался целых семнадцать лет. По закону парламента не мог пережить только кончины того короля, по грамотам которого произведены были выборы. Смертию короля распускался его парламента, и новый король должен был назначать новые выборы.

По изгнании Стюартов, при Вильгельме III, почли нужным ограничить прежний произвол и обеспечить для нации средство чаще приводить в соответствие с господствующим мнением корпорацию, представляющую голос нации. По статуту, называемому трехгодичным законом (Triennial act), было постановлено, что один и тот же парламента не может продолжаться более трех лет и общие выборы производятся на этот срок. Через двадцать два года, при Георге I, срок этот был продлен на семь лет по семигодичному закону (Septennial act); изменение предложено было вигами и нашло сопротивление в торийских абсолютистах и реакционерах. Лорд Сомерс, один из самых честных и свободомыслящих людей тогдашней Англии, лежавший при смерти, сказал одному из своих друзей вигов, пришедшему посоветоваться с ним об этом намерении: «Я никогда не одобрял трехгодичного билля и всегда думал, что на самом деле он производит результат противный тому, какого хотели мы достичь. Вы имеете сердечное мое сочувствие в этом деле, и я думаю, что оно будет самою твердою опорою для свободы Англии». Теперь, напротив, прогрессисты требуют сокращения срока. Откуда такая разница в желаньях людей сходного образа мыслей? В начале XVIII века назначение огромного большинства членов палаты общин зависело от лордов, и частая смена парламентов не благоприятствовала самостоятельности депутатов, которые только долгим сроком выборов избавлялись от произвола своих патронов. Подобное положение вещей продолжалось до самой реформы 1832 года, которая, увеличив число депутатов, назначаемых большими городами, ввела в палату общин значительное число представителей

среднего сословия, независимых от патронатства. Но все еще большинство депутатов избирается под сильным влиянием нескольких богатых землевладельцев или даже просто по их назначению. Новая реформа намерена положить конец этому введению тайной баллотировки и другими изменениями, о которых скажем ниже. Тогда большинство палаты общин будет состоять из людей истинно независимых, и более частые выборы будут принуждать их соображаться не с желаниями каких-нибудь патронов, как было прежде, а с потребностями их избирателей, также делающихся независимыми от патронатства, т. е. быть верными представителями общественного мнения. Таким образом, с переменою обстоятельств один и тот же закон из либерального становится реакционным или наоборот; и прогрессисты находят ныне пользу в сокращении срока, между тем как прежде продолжительный срок был нужен для того, чтобы палата общин хотя несколько повиновалась общественному мнению.

Теория различных оттенков реформационной партии почти единодушна по этому вопросу. Могущественное общество «Друзей всенародного выбора» (Complete suffragist), радикалы и прогрессивные либералы, подобно хартистам, которых очень мало в парламенте, но к которым попрежнему принадлежит большинство простолюдинов, желают ежегодных выборов, которые были одним из шести пунктов знаменитой «народной хартии» (People's Charter), представленной в 1839 году палате общин в форме просьбы с 1.200.000 подписей и вновь представленной в 1848 году с таким же числом подписей²⁸.

Если семилетний срок не удержится, то виги и тори, вероятно, будут отстаивать трехлетний срок, бывший в конце XVII века. Мы говорим «вероятно», потому что ни виги, ни тори еще не высказывали своих программ по вопросу о реформе; и только по открытии парламентских заседаний, около половины февраля, когда лорд Дерби и лорд Россель (быть может, и лорд Пальмерстон отдельно от Росселя) представят свои собственные билли в соперничество с Брайтовым, можно будет с достоверностью определить, какую меру уступок предлагают от себя та и другая из старых партий. Еще неизвестно, какой срок сочтет практичным для настоящего времени и реформационная партия.

Другое коренное изменение относится к составу палаты общин. Реформационная партия требует нового распределения избирательных округов между деревнями или, как называют в Англии, графствами и городами.

В настоящее время палата общин состоит из 658 человек; но избирательные округа назначают известное число депутатов вовсе не по пропорции к числу своего населения, как во всех европейских государствах и в Америке, а просто — каждый округ известного класса выбирает известное число депутатов, одно и то же в самых маленьких и в самых больших округах этого класса.

Во-первых, пользуются правом назначать депутатов в парламент три университета: Оксфордский, Кембриджский и Дублинский св. Троицы, каждый по два депутата.

Второй разряд избирательных округов составляют деревни; их депутаты называются, как мы знаем, депутатами графств. Число всех таких депутатов в палате общин простирается до 253. Тут избиратели — немногочисленные землевладельцы и толпа фермеров, совершенно зависящих от землевладельцев, которые нарочно не соглашаются на заключение с ними срочных контрактов, а ограничиваются контрактами бессрочными (*at will**), которые могут быть уничтожены во всякое время произволом каждого из двух контрагентов. Выборы происходят в Англии посредством записи в книгу, за какого кандидата какой избиратель подает голос. Таким образом, землевладелец может прогнать с фермы фермера, который не послушается его приказа и не поддерживает своим голосом кандидата, пользующегося покровительством землевладельца. Почти вся земля в Англии сосредоточена, как известно, в руках нескольких сот аристократов, и эти немногочисленные богатые землевладельцы назначают всех так называемых депутатов графств, то есть почти две пятых части всего числа депутатов, составляющих палату общин.

Остальные 399 депутатов избираются городами, или, чтобы вернее передать смысл английского термина, — замками или цитаделями (*borough*). В самом деле, некогда все города были крепостями, и городскую корпорацию составляли только граждане, жившие в собственно так называемом укрепленном городе, а жители предместий были исключены от участия в их правах. Мало-помалу все это изменилось, стены разрушились, жители предместий сравнялись в правах с жителями старого города; но в избирательном смысле город попрежнему называется не просто городом (*city*), а укрепленным городом или замком (*borough*). Средневековое начало осталось не в одном имени, но и в чрезвычайной неравномерности пропорций между числом жителей или даже избирателей и числом назначаемых ими депутатов. Землевладельческие или деревенские округа по крайней мере все довольно велики; но в числе городов, назначающих каждый по столько же депутатов, как Ливерпуль, Манчестер, Глазго, Лидс или Бирмингем, находится множество маленьких и ничтожных местечек, более похожих на деревушки, нежели на города. Количество этих запустевших городов (*rotten borough*), составляющих каждый по отдельному избирательному округу, уменьшено наполовину реформой 1832 года, но все-таки их остается еще чрезвычайно много; между прочим насчитывается 59 таких городов, которые имеют каждый менее 500 избирателей. Все вместе эти 59 городов, имея только 20.076 избирателей и всего населения

* По усмотрению. — Ред.

не более 373.000, посылают в парламент 89 депутатов, между тем как Ливерпуль, один имеющий большее число жителей и избирателей, нежели все они вместе, назначает только двух депутатов.

В числе многочисленных маленьких городков, имеющих избирательную привилегию, находится много таких, в которых все жители совершенно зависят от одного землевладельца, как будто в деревне; поэтому не будет преувеличением сказать, что до сих пор большинство палаты общин назначалось несколькими сотнями богатых землевладельцев, а весь остальной миллион избирателей Англии назначал только меньшую половину депутатов, составляющих палату общин.

Изменение в распределении избирательных округов, требуемое реформационною партией, имеет двоякую цель: во-первых, уменьшить зависимость палаты общин от аристократических землевладельцев, и без того уже имеющих слишком значительную долю в законодательной власти по своему званию членов палаты лордов. Во-вторых, уничтожить страшную неравномерность числа депутатов с числом населения в разных избирательных округах.

В теории тут и манчестерская школа, и радикалы опять согласны с хартистами: они считают наилучшим тот принцип, какой введен во всех новых конституционных государствах Западной Европы, именно, распределение страны на избирательные округа без различия городов от деревень, и каждому избирательному округу предоставление числа представителей, прямо соразмерного его населению. Тогда, например, Манчестер составлял бы один избирательный округ с окрестными местечками и деревнями или, пожалуй, и целое Ланкастерское графство, то есть и Манчестер, и Ливерпуль, и другие города со всеми деревнями Ланкастерского графства составляло бы один округ. И, например, в первом случае, если Манчестерский избирательный округ имел бы 500.000 жителей, между тем как все Великобританское королевство с Ирландиею 28.000.000, и в палате общин попрежнему будут находиться 658 членов, то на долю Манчестерского округа пропорционально числу его жителей пришлось бы выбирать 11 или 12 представителей.

Такова теория реформистов. До какой степени возможным сочтут они изменить в настоящее время распределение избирательных округов на практике, мы скоро узнаем.

Третье изменение относится к условиям, которые до сих пор были нужны человеку для того, чтобы он мог явиться кандидатом на парламентские выборы. До сих пор мог быть членом парламента от графства только владелец участка земли, дающего не менее 600 фунт. стерл. (немного менее 4.000 р. серебром) годового дохода, а представителем от города — только человек, имеющий собственность, приносящую не менее 300 фунт. стерл. (около

2.000 руб.) ежегодного дохода. Исключение из этого допускалось одно, и то в пользу аристократии: старшие сыновья перов Англии могут быть избираемы депутатами от графств, хотя бы не имели никакого самостоятельного дохода.

Вся реформационная партия согласна в теоретическом желании, чтобы это и некоторые другие стеснительные условия кандидата были отменены и депутатом мог быть каждый англичанин, которого почтут своим доверием избиратели.

И теперь есть, и прежде были в числе членов палаты общин люди без всякого состояния; но они вступали в парламент как клиенты могущественных аристократов, которые, сообщив им право называться владельцами нужной для кандидата собственности посредством какого-нибудь фиктивного акта, доставляли им для безбедной жизни какую-нибудь синекуру или просто давали содержание от себя. Если другие перемены, требуемые реформационною партией, осуществляются в надлежащем размере, то в палату общин войдет множество людей без состояния, но дорожащих своею независимостью, — таких людей, которые не захотят принимать синекур, а тем менее позволят кому-нибудь предложить им содержание. Но обязанность члена палаты общин, действительно исполняющего свой долг, отнимает чрезвычайно много времени. В течение всей парламентской сессии одно присутствие в заседании отнимает у него почти половину дня. Если же он будет говорить речи, то ему понадобится еще много времени на статистические, исторические, юридические и другие ученые занятия. Притом жизнь в Лондоне гораздо дороже, нежели в провинциальных городах, а тем более в деревнях. Человек небогатый не может быть отвлекаем так сильно от своих частных дел и переселяться в столицу без вознаграждения. Потому необходимым дополнением к другим преобразованиям является назначение жалованья членам палаты общин. Народная хартия определяла его в 500 фунтов (несколько более 3.000 руб. сер.) в год.

В соединенном королевстве Великобритании и Ирландии считается около 7.000.000 взрослых мужчин. Из них до сих пор только одна шестая часть, немногим более 1.000.000 человек, пользовалась правом подавать голос на парламентских выборах. В графствах это право предоставлено теперь только владельцам независимых участков земли, *frecholders*, дающих не менее 10 фунт. дохода, и фермерам, платящим за наем фермы землевладельцу не менее 50 фунтов; а в городах — лицам, занимающим квартиры ценою не менее 10 фунтов. Таким образом, даже и среднее сословие не всё пользуется избирательным правом, а из простолудников недоступно оно, можно сказать, никому.

Хартисты, радикалы и манчестерская школа согласны в том, что следовало бы желать, чтобы каждый взрослый англичанин без всякого различия состояний сделался избирателем. В теории вся реформационная партия принимает *suffrage universel*. Ка-

кими условиями надобно ограничить его, чтобы реформа могла пройти через нынешнюю палату общин, огромное большинство которой принадлежит к старинным аристократическим партиям, — это другой вопрос; и теперь еще неизвестно, какие именно основания для расширения числа избирателей примет Брайт в своем билле по совету с депутатами главнейших реформационных обществ, покрывающих теперь всю Англию своими комитетами. Из его речей на митингах известно только, что он считает для настоящего времени практичным основанием такое расширение избирательного права, чтобы участвовал в парламентских выборах каждый, участвующий в выборах лиц, заведующих сборами на немущих, то есть каждый глава семейства или человек, живущий самостоятельным хозяйством.

Остановится ли он на этом основании или по совету с важнейшими представителями реформационной партии найдет практичным изменить его, — пока еще неизвестно. Но этот вопрос представляется наименее сомнительным из всех составных пунктов реформы относительно своего действительного осуществления. Старинные партии, вероятно, будут противиться введению баллотировки и пропорционального распределения депутатов по числу населения избирательных округов; но кроме немногих слишком упорных тори, думающих отделиться от лорда Дербри и остальных тори, чтобы безусловно отвергать реформу, все оттенки парламентских партий согласны в том, что избирательное право должно быть расширено в очень значительной степени; и едва ли можно сомневаться в том, что реформа введет в число избирателей половину совершеннолетних англичан, так чтобы понижение ценза обняло значительную часть простолюдинов.

Но предоставление прав бедной части среднего сословия и простолюдинов даст их потребностям действительное влияние на состав палаты общин только тогда, когда независимость избирателей будет ограждена введением тайной баллотировки (ballot) на выборах. Эта гарантия в Англии необходимее, нежели где-нибудь. Во Франции, в Бельгии, в Германии есть очень много простолюдинов, владеющих землею, следовательно, независимых от чужого произвола; многие ремесленники также занимаются в этих странах своими промыслами как самостоятельные хозяева. В Англии ни тот, ни другой разряд самостоятельных простолюдинов почти не существует. Простолюдины-земледельцы там — не более как наемные работники, подчиненные произволу фермеров, которые в свою очередь также подчинены произволу землевладельцев. Ремесленные промыслы гораздо в сильнейшей степени, нежели на континенте, сосредоточены в обширных мастерских, и ремесленники так же, как и земледельцы, почти все обратились в наемных работников; о фабричных рабочих нечего и говорить. Потому введение тайной баллотировки реформационною партией требуется с такою же настойчивостью, как рас-

ширение избирательного права. Но из всех пунктов Брайтова билля баллотировка встретит самое сильное сопротивление со стороны старинных партий, сознающих, что именно в этом вопросе заключается вопрос о продолжении или падении прежней их силы. Пройдет ли это требование реформационной партии через палату общин, трудно сказать прежде, нежели разъяснятся мнения той части виггов, которая отвергла Пальмерстона и возвратилась к прежнему главе всей вигистской партии, лорду Росселю.

Мы изложили требования реформационной партии и смысл их.

Народная хартия также ограничивалась шестью пунктами, составляющими теперь программу всех независимых либералов. Ее знаменитые требования были:

- 1) Всеобщее право избирательства; избирателем должен быть каждый совершеннолетний человек, находящийся в здравом рас-судке и не осужденный за уголовное преступление.
- 2) Ежегодные парламентские выборы.
- 3) Жалованье членам палаты общин, чтобы и люди без состоя-ния могли принимать на себя звание депутатов.
- 4) Выборы посредством тайной баллотировки, чтобы оградить независимость избирателей.
- 5) Новое распределение избирательных округов, чтобы число депутатов от каждого округа было соразмерно его населению.
- 6) Отменение ценза для кандидатов, чтобы нация могла из-бирать своих депутатов без различия между богатыми и бедными.

В 1839 году и даже не дальше как в 1848 году народная хар-тия называлась безумием, выставлялась гибелью для Англии. Теперь мы видим, что честнейшие и наиболее практичные из го-сударственных людей Англии, такие люди, как Брайт и Кобден, своею деятельностью в Лиге против хлебных законов доказавшие, что они вовсе не похожи на сентиментальных идеалистов, прини-мают все шесть пунктов народной хартии; и если билль Брайта допустит некоторые ограничения в изложенной нами программе, то эти изменения явятся только временною уступкою для приоб-ретения большего числа союзников в нынешней палате общин, только следствием парламентской тактики, принимающей ком-промиссы, взаимные уступки или сделки в подробностях для до-ставления скорейшего торжества основным принципам. В мире нравственном, так же, как и в материальном, то, что сначала ка-залось невозможностью, часто является необходимостью, и то, что казалось безумием, признается мудростью через пятнадцать, двадцать лет после того, как было отвергаемо, осмеиваемо или проклиняемо.

Вопрос об исполнении требований, выставляемых всею рефор-мационною партиєю, стал теперь вопросом только о времени. Не ныне, завтра, несколькими годами раньше, несколькими годами позднее все они должны быть приняты парламентом. Вопрос о

парламентской реформе вообще не допускает и такой отсрочки; она должна быть произведена не позже как в следующую сессию, если не будет произведена в сессию нынешнего года, что гораздо вероятнее для нас и представляется несомненным для всех английских газет. Но спрашивается теперь, в какой степени именно нынешнюю реформу будут удовлетворены требования реформационной партии. Мы уже говорили, что это должно разъясниться не дальше как через месяц, вскоре по открытии парламентской сессии. Теперь еще неизвестно, все ли шесть пунктов будет обнимать билль Брайта, или реформационная партия найдет практичным взяться на первый раз за проведение только трех основных пунктов (расширение избирательства, передел округов и баллотировка). Неизвестно также, какой именно тактике захотят следовать три оттенка старых аристократических партий, заключающих в себе четыре пятых частей всего состава нынешней палаты общин. Они еще и сами не решили в точности, как будут действовать: подобные решения, вынуждаемые необходимостью, подчиняются обстоятельствам, изменяющимся каждый день, и потому окончательно принимаются только накануне самого действия. Мы перечислим различные шансы, указывая на те, которые ныне представляются правдоподобнейшими, но которые могут смениться другими в промежуток, отделяющий нынешний день от прений в палате общин о реформе.

Само собою разумеется, мы не имеем претензии предсказывать, как именно и что именно случится: очень может быть, что, вместо комбинаций, излагаемых нами, явятся вследствие непредвидимых обстоятельств другие комбинации. Мы только хотим перечислить случаи, представляющиеся вероятнейшими теперь, чтобы читатель мог легче соображать значение отрывочных газетных известий о тех парламентских движениях, которые более или менее подходили бы к тому или другому из сочетаний, объясненных нами.

В настоящее время палата общин распадается, как известно, на четыре большие партии: тори, пальмерстоновские виги, росселевские виги и реформисты. Они должны слиться в две партии, по крайней мере по важнейшим вопросам, именно по вопросам о тайной баллотировке, переделе округов и степени расширения избирательного права. Будут сначала представлены три главных билля: торийский билль Дерби, билль Росселя и билль Брайта. Представит ли Пальмерстон свой особенный билль, еще неизвестно, да и неважно знать это, потому что он не знаток в подобных делах и будет не более как компилятором. Быть может, и пилиты представят особенный билль; но они малочисленны и имеют важность только тем, что могут служить посредниками для сближения Брайта с Росселем или с Дерби, или Росселя с Дерби. Из этих трех, четырех или пяти биллей только два, имеющие наиболее надежды соединить большинство голосов, послужат сервез-

ным предметом прений; другие будут представлены собственно только для формы, для очищения совести той или другой партии, чтобы не сказали, будто она не имела собственного решения по поднятому вопросу. Чьи же это два билля, которые будут серьезнейшими соперниками? По всей вероятности, билль Дерби и билль Росселя. Партия Дерби так многочисленна, что не может примкнуть к другой партии, а может только делать уступки, чтобы к ней примкнула какая-нибудь другая партия. Пальмерстон, изнемогающий под непопулярностью, и малочисленные пилиты не могут быть серьезными соперниками Дерби. Билль Брайта не может приобрести голосов ни массы тори, ни массы вигов: он будет слишком прогрессивен для них. Лучшее, на что он может надеяться, — это отделить в свою пользу по двадцати или тридцати прогрессивнейших людей из того и другого лагеря, то есть ни в каком случае не мог бы он иметь у себя более 250 голосов и, вероятно, будет иметь гораздо меньше, может быть всего с небольшим 150, а для большинства нужно более 300 голосов; следовательно, он будет служить, так сказать, только запросом, только средством поднять цену согласия со стороны независимых либералов на поддержку билля какой-нибудь другой партии. Итак, серьезным соперником биллю Дерби, вероятно, останется только билль Росселя. Который же из них восторжествует? Это зависит от двух шансов.

Во-первых, на что решатся пальмерстоновские виги. Присоединившись к Дерби, они едва ли дадут ему большинство, но делают невозможным его сближение с реформационною партией. Присоединившись к Росселю, они заставят Дерби сделать всевозможные уступки для приобретения помощи реформистов, без которой тогда ему не будет спасенья.

Но, быть может, реформисты сделают выбор между Дерби и Росселем раньше, нежели исполнят свой маневр пальмерстоновские виги. В таком случае победа скоро будет решена: она, по всей вероятности, останется за тою стороною, к которой присоединятся реформисты.

К какой же стороне присоединятся они? Надобно думать, что это зависит не столько от Дерби, сколько от Росселя. Он и его часть вигов — настоящие господа нынешнего положения вещей, насколько оно обрисовалось до сих пор. Как бы едко ни говорили реформисты о вигах, сколько бы услуг ни оказали они до сих пор лорду Дерби, все-таки у них гораздо больше расположения к союзу с Росселем, нежели с Дерби: они сами вышли из вигов, у них множество общих воспоминаний с партией Росселя, и Россель все-таки гораздо лучший прогрессист, нежели Дерби, хотя оба они — довольно плохие прогрессисты. Да и Дерби поддерживали они некоторое время только для того, чтобы вынудить больше уступок у Росселя. Что касается до принципов, Росселю уступки, нужные для сближения с реформистами, были бы во-

все не так тяжелы, как Дербиз; но тут примешивается другое обстоятельство, отнимающее возможность достоверно предвидеть решение Росселя. Уступки в отвлеченных принципах мало. Если билль Росселя восторжествует, министерство Дербиз падет, и образуется новый кабинет, кабинет Росселя. Если он будет обязан победою реформистам, приличие требует дать им некоторые из министерских портфелей или, как говорят в Англии, печатей. Но для этого надобно было бы отказаться от постоянного правила предводителей вигистской партии, которые всегда берегли министерские места исключительно для членов пяти или шести главных вигистских фамилий; именно эта уступка — допущение в кабинет людей среднего рода (употребляем удачное выражение одного из наших соотечественников: оно как нельзя лучше характеризует понятия владычествующих в Англии фамилий) — по всей вероятности, будет для Росселя и его товарищей тяжелее, нежели для Дербиз и торийской партии, которая так обветшала и оскудела умственными силами, что давно уже видит себя в необходимости подкреплять свои кабинеты людьми среднего рода, терпела уже унижение своему суздальскому чувству (прибегаем опять к удачному выражению того же соотечественника: только подобные выражения и могут объяснять русскому читателю, почему Англия, при многих великих сторонах несомненного превосходства, не пользовалась до сих пор популярностью на континенте), повинувшись Роберту Пилю, а теперь слушаясь д'Израэли, и уже притерпелась к этой беде.

Чтобы привлечь к себе реформистов, Россель должен ввести в свой билль тайную баллотировку, — введет ли он ее? Тяжело взять в товарищи себе людей среднего рода; тяжело и подкопать основу аристократического господства над палатою общин. Но, с другой стороны, как же уступить Пальмерстону, ненавистнейшему сопернику, как не превзойти его в либерализме? А ведь приверженцы Пальмерстона уже соглашались на расширение избирательного права до какой угодно степени, хотя бы даже до всенародного избирательства. Стало быть, превзойти их в этом пункте нельзя, и остается только вопрос о тайной баллотировке. Что же касается до ослабления зависимости выборов от аристократического влияния, тут опять с некоторой неприятностью соединено и сильное удовольствие, да и большая выгода. Почти все большие землевладельцы — заклятые тори; уничтожить влияние лендлордов на выборы значит подорвать в самом корне могущество торийской партии: партия вигов на четыре пятых выходит из независимых выборов, стало быть, потеряет очень мало, потеряв членов, даваемых ей несвободными выборами, зато приобретает множество новых членов от выборов, которые выйдут из-под власти тори. А партия тори, вся до последнего человека, входит в палату общин только через аристократическое влияние. Выражаясь терминами, употребительными на континенте, тайная

баллотировка имела бы такое влияние на состав палаты общин: ныне правая сторона (Дерби) имеет две пятых части голосов; центр (Россель) также две пятых части; левая сторона (Кобден, Брайт, Робак) одну пятую часть; чрез введение тайной баллотировки, от нынешней правой стороны уцелеет разве четвертая часть; остальные ее голоса пополам разделятся между двумя остающимися партиями. Таким образом, нынешний центр, несколько подвинувшись направо, займет всю правую сторону и будет иметь три пятых части всех голосов, т. е. располагать решительным большинством и господствовать, не нуждаясь уже ни в каких союзах и уступках. Выгоды для Росселя тут очевидные. Потому многие полагают, что он введет в свой билль тайную баллотировку. Отважится ли он на такое отступление от своих прежних биллей, мы не знаем; но если отважится — победа его не подлежит сомнению, по крайней мере при нынешнем положении обстоятельств. Правда, пальмерстоновские виги могут тогда отшатнуться от него, но и вместе с тори едва ли составят они большинство.

В таком случае правдоподобнейший ход дел был бы следующий: билль лорда Дерби отвергается (прения, вероятно, начнутся с него); это значит, что палата предпочитает билль Росселя. По парламентским правилам лорд Дерби и его товарищи немедленно подают в отставку. Королева поручает Росселю составить министерство. Обычай обязывает его взять своими товарищами в министерство несколько человек из реформистов, содействовавших падению прежнего министерства. Но он может не сделать этого, и для составления большинства ввести в министерство пальмерстоновских вигов и пилитов. По окончании прений и по утверждении Росселева билля парламент будет распущен, и назначены выборы на основании нового закона. Они, по всей вероятности, дадут Росселю такое большинство, что он будет в состоянии освободиться от всяких союзников, сколько-нибудь стеснительных, и тогда реформисты будут составлять оппозицию вигистскому министерству.

Довольно вероятным представляется и другой случай. Если Россель не введет в свой билль тайную баллотировку, реформисты будут поддерживать билль Дерби, который в расширении права избирательства может не пожалеть уступок, чтобы превзойти Росселя либерализмом. Тогда билль Дерби проходит, и торийское министерство назначает новые выборы по утверждении своего билля королевой. Но только до этой поры и простирается разница между двумя случаями, о которых мы говорим: результат новых выборов всегда будет один и тот же. В новом парламенте тори будут слабы, большинство приобретут виги, а реформисты, усилившись вдвое против нынешнего, будут составлять оппозицию.

Наконец, может представиться третий случай, который по ны-

нешнему положению дел вероятен не менее двух других: упорство вигов против коренной реформы может взять такую силу над их чувствами, что они захотят соединиться с тори, своими давнишними соперниками, лишь бы только дать как можно менее простора преобразованию. Тогда Дерби, Пальмерстон и Россель или Дерби и Россель станут поддерживать один и тот же билль, составленный из соединения торийского с вигистским. Тогда из вигов очень многие отделятся от своих прежних предводителей и присоединятся к реформистам. Но все-таки за массою остальных вигов вместе с тори будет очень сильное большинство. Они будут вынуждаться тогда к уступкам уже не парламентскою необходимостью, а только влиянием общественного мнения, которое в этом случае получит наименьшее возможное удовлетворение. Возникнет коалиционное министерство Росселя и Дерби или Росселя, Пальмерстона и Дерби; но и оно опять-таки приходит к тому же концу: после новых выборов виги получают большинство и остаются одни полными господами в кабинете. Тогда в новом парламенте тори сохраняют несколько больше голосов, хотя все-таки ослабеют. Это сбережение некоторой силы произойдет на счет вигов, большинство которых не будет так значительно, как в двух других случаях²⁹.

Вот различные шансы для хода событий, и один из трех представленных нами случаев непременно должен осуществиться, если не произойдет каких-нибудь непредвиденных теперь политических событий на континенте в недолгий промежуток, отделяющий нас от прений о реформе. Мы видим, что каковы бы ни были политические маневры партий, дело все-таки должно придти к одному и тому же концу после новых выборов: в новом парламенте тори ослабеют, виги приобретут большинство и войдут в министерство на место тори; реформисты усилятся до того, что будут составлять оппозицию, между тем как до сих пор оппозицию бывали поочередно только или виги, или тори, для которых реформисты служили не более как союзниками.

От хода событий, от передачи кабинета одними партиями другим, обратимся к соображению о том, какое влияние обнаружит парламентская реформа на общий характер английской политики. Если читатель хотя несколько сочувствует тем понятиям о ходе истории, которые выражены нами в начале этого очерка, он не будет увлекаться блистательными надеждами и одобрит наше правило: предполагать всегда наименее благоприятную для прогресса развязку каждого кризиса. Вся история человечества внушает скромность ожиданий от настоящего. Да оно и лучше, когда не надеешься ничего особенно выгодного или радостного: по крайней мере избавляешься от разочарований. Зато, когда надежды приведены к наименьшему размеру, какой только допускается здравым смыслом, можно быть уверенным, что то небольшое и малое, на что рассчитываешь, уже неизбежно случится. А если

против ожиданий обстоятельства повернутся несколько благоприятнее, нежели могли бы повернуться в наихудшем случае, тогда принимаешь каждую данную ими прибавку как сюрприз судьбы. Будемте предполагать, что нам придется носить шубы до самого июня, а если теплая погода начнется раньше, тем лучше.

Мы возьмем самый худший случай, какой возможен. Предположим, что виги и тори, забывая прежнее соперничество, соединяются для сопротивления опасности, действительно грозящей одинаково и тем, и другим. Ведь широкая реформа подорвала бы могущество не только тори, но и вигов: виги усилились бы только на короткое время, и реформисты с каждым новым выборами стали бы захватывать на их счет все больше и больше депутатских мест. Если приятность временного торжества не возьмет верха над желанием упрочить свою нынешнюю силу, виги соединятся с тори теперь же для сопротивления реформистам. Тогда реформа будет иметь наименьший размер. Пусть будут отвергнуты сокращение срока парламента и жалование депутатам, и тайная баллотировка, и уничтожение ценза для кандидатов. Все-таки остаются еще два пункта, в которых старые партии не могут не сделать уступок общественному мнению, в которых они уже решились на уступки. Эти два пункта: изменение избирательных округов и расширение избирательства. И Дерби, и Пальмерстон, и Россель—все уже сказали, что этих двух вещей нельзя не сделать. Пусть и в них уступка будет сделана самая меньшая, хотя бы даже ничтожная, хотя бы даже на первое время чисто формальная и вздорная. Пусть останется очень резкая непропорциональность между числом депутатов и населением округов. Пусть основой для расширения избирательного права будет принята не самостоятельность и какое бы то ни было участие в платеже прямых местных податей, а только понижение ценза, которое давно уже предлагают и Дерби, и Пальмерстон, и Россель. Все-таки в городах избирателями сделаются довольно многие простолюдины, и, следовательно, от тех больших городов, где выборы имеют уже и теперь независимость, депутатами в парламент будут назначаться люди, служащие более точными представителями национальных потребностей, нежели теперь; и все-таки у некоторых из маленьких городов, не имеющих независимости, будет взято несколько депутатов и передано большим независимым городам. В результате число депутатов, действительно представляющих в парламенте национальные потребности, все-таки значительно увеличится и качество их, если можно так выразиться, степень ответственности их голосов с голосом нации, улучшится. Их будет больше, это значит, усилятся их влияние на парламентские прения; смысл их речей улучшится, это значит, что с большею против прежнего силою они будут требовать от парламента для блага нации больше, нежели могли требовать до сих пор. Словом сказать, пусть реформа будет обрезана ста-

рыми партиями до последней крайности, все же она усилит в парламенте людей, заботящихся о благе нации, т. е. хотя несколько облегчит дальнейший путь к более полным реформам, а до той поры, до осуществления более полных реформ, все-таки принудит парламент хотя на одну каплю более думать об истинных потребностях нации, нежели как было до сих пор. Этого мы не «надеемся» от реформы, — «надеяться» тут выражение неуместное; разве говорится: «я надеюсь, что 20 января солнце взойдет несколько раньше и закатится несколько позже, чем 19-го?» Разве говорится: «я надеюсь, что февраль будет несколько теплее января?» Нет, говорится просто: я знаю это, — как и мы скажем просто: мы знаем, что реформа даст английской нации больше силы над ведением английской политики, нежели сколько нация имела силы до сих пор.

А английская нация не совсем похожа на лорда Пальмерстона и ему подобных буянов над слабыми, трусов перед сильными. Она, как и все европейские нации, живет своим трудом, стало быть, не имеет ни времени, ни охоты без нужды вмешиваться в чужие дела, а хочет только заботиться о своем благосостоянии, искренно желает добра и другим. Она, как и все трудящиеся люди, хотела бы только того, чтобы лучшим устройством ее домашних отношений было облегчено ее существование и каждому из ее трудящихся членов дана возможность после тяжелой дневной работы отдохнуть вечером у домашнего очага, дана возможность иметь несколько досуга, при котором человек из чернорабочей машины мало-помалу становится действительно человеком.

Но мы забыли еще один шанс. Если не вспыхнет какая-нибудь неправдоподобная война в два-три следующие месяца и не отвлечет бедную нацию, жертву чужого честолюбия и легкомыслия, от заботы о своих делах, то билль о реформе будет принят палатою общин в нынешнюю сессию, т. е. никак не дальше половины нынешнего года. Но ведь этим еще не кончается дело: билль, прошедши через палату общин, нуждается потом в согласии палаты лордов и, только прошедши через нее, получает утверждение королевы. Что, если палата лордов отвергнет билль? Едва ли. В подобных вопросах не допускается сопротивление палате общин. Это не какой-нибудь вопрос о допущении евреев в парламент; это не какие-нибудь дрязги, в которых палата общин может перенести отказ: тут отказ повлек бы за собою принятие решительных мер для уничтожения самой возможности сопротивления; дело может коснуться состава палаты лордов. Но если б и в самом деле палата лордов отвергла билль, этим она произвела бы разве отсрочку на один год, и в этот год агитация приняла бы такие размеры, что никто не мог бы уже и подумать о дальнейшем сопротивлении; да и самые требования сильно возвысились бы и билль следующего года был бы гораздо ради-

кальнее нынешнего, каков бы ни был нынешний; следовательно, отказ палаты лордов послужил бы только в пользу реформе.

Мы успели представить очерк только двух вопросов из всего бесчисленного множества дел, занимающих Западную Европу. В числе этих дел есть довольно важные; напр., в Англии вопрос об Ионических островах; во Франции, Австрии и Сардинии — вопрос о ломбардо-венецианских землях; в Турции и Австрии, отчасти Франции и Англии — вопрос о дунайских княжествах и Сербии; вопрос о направлении нового правительства в Пруссии; ссть кроме того вечные вопросы о Шлезвиг-Гольштейне, о Кубе, о Центральной Америке и бог знает еще сколько других историй, дающих занятие дипломатам и газетам. Кроме всего этого, еще тянется война в Ост-Индии, делают что-то европейцы в Кохинхине, проникают в Китай и Японию. Обо всем этом до следующих книжек.

P. S. 15 января 1859. Когда наша статья уже печаталась, мы получили газеты с известием о митинге 17 января в Бредфорде, где Брайт довольно полно изложил главные основания своего билля. Смысл этих оснований и шансы, которые указываются ими для реформационной партии, объяснять теперь было бы слишком долго. Заметим только два обстоятельства: билль составлен в духе чрезвычайно умеренном и, очевидно, произвел в обществе очень благоприятное впечатление, потому что газеты, враждовавшие против Брайта (и во главе их «Times»), почли нужным хвалить его билль, хотя и продолжают восставать против его личности. Кроме того, есть в речи Брайта несколько выражений, по которым надобно заключать, что предводители одной из старых аристократических партий вступили с ним в переговоры. Он говорит о «могущественных людях, симпатия которых с ним, которые наблюдают признаки времени и ждут известий о митингах, подобных настоящему, для определения своего пути». Кого надобно разумеать под этими словами: вигов или тори? Судя по тому, что Брайт сильно настаивает на передаче большим городам почти всех депутатских мест, отнимаемых у мелких, несамостоятельных городов, и никак не соглашается уступить их земледельческим графствам, можно предполагать, что он сходится с вигами: тори никогда не согласились бы в этом отношении на уступки, а виги сами держатся того же плана, как Брайт. Но эта догадка — не более как наша догадка. Да и самые переговоры, с кем бы ни велись они, могут расстроиться: посмотрим, согласится ли Россель на баллотировку, — от этого зависит очень многое.
